

Геннадий Михайлович Гусев. Это имя связано с “Нашим современником” на протяжении почти 20 лет, с 1993-го по 2012 год, когда он был первым заместителем главного редактора журнала.

Неутомимый, честный и самоотверженный работник на ниве культуры, он на разных должностях — заместителя главного редактора издательства “Молодая гвардия”, инструктора сектора художественной литературы Отдела культуры ЦК КПСС, главного редактора “Роман-газеты”, директора издательства “Современник” — был подлинным подвижником и организатором литературного дела, многие молодые и начинающие под его крылом стали классиками отечественной литературы. И в самые тяжёлые дни развала и крушения всего и вся — он и в Союзе писателей России, и в “Нашем современнике” до конца был верен русскому слову и своим патриотическим убеждениям.

Мы всегда будем с благодарностью вспоминать время, прожитое бок о бок с Геннадием Михайловичем, и публикуем краткие воспоминания о поэтах, с которыми его сводила жизнь.

Проблески памяти

За всю свою долгую жизнь я не сочинил ни одной поэтической строфы. “Парнас не про нас”. Судьба решительно отказала мне даже в малюсенькой доле стихотворного таланта. Однако, словно извиняясь за скупость, она зато щедро одарила меня неостывающей пожизненной Любовью к истинной поэзии.

Перечитав — начиная с довоенных детских лет — груды стихотворных сборников, я всегда радостно, бескорыстно завидовал тем, кто сумел “изваять” (как любил говорить мой весёлый друг Володя Фирсов) хоть две имеющие право на бессмертие строчки. Неустанно стремясь, по Блоку, у каждого автора “выудить жемчужину из моря его слов”, я добросовестно перечитывал и пухлые графоманские рукописи, и беспомощные стишата друзей, знакомых и прочих соискателей поэтической славы. И всякий раз сердце трепетало: “А вдруг?..” Однако рождённый ползать летать не может. И я многожды благодарил свою планиду за то, что не попустила мне впасть в грех рифмоплётства.

... Если уж совсем честно — остались в памяти четыре строчки, придуманные в 10-м классе, в 1951 году, навеянные первой любовью и очарованием фатьяновских песен:

— Мне не только на скамейке —
в сердце места нет.
Слово ласки мне не скажешь,
не пошлешь привет...

Ох-хо-хо... Благодарение небесам — вовремя понял: не дано, не мучайся, не твоё!

А любовь к большой поэзии осталась, повторяю, навсегда. Более того, на всех житейских поворотах и этапах мне смолоду посчастливилось встречаться, общаться едва ли не со всеми — да, да! — по-настоящему талантливыми русскими и русскоязычными поэтами второй половины XX — начала XXI века. Встречаться, общаться, а с некоторыми и дружить.

Вот оттого вдруг и пришла мне дерзкая мысль: а что, если рассказать об этих встречах? Какой след, глубокий, не смываемый временем, или просто лёгкую малозаметную царапинку в душе оставила каждая из них? Будет ли это интересно возможному читателю? Признаюсь — не уверен. Очень уж субъективный, зыбкий замысел — без чётких резюме об уровне того или иного дарования, без какого-либо квалифицированного анализа творчества каждого из авторов. И даже без сколько-нибудь внятных объяснений, почему именно эти имена и эти встречи врезались в память.

Любитель — он и есть любитель; по-лермонтовски: “Но я люблю — за что, не знаю сам...” Необъяснима подлинная любовь, в том числе к Отчизне, но лишь высокая поэзия, пусть отчасти, позволяет приблизиться к истине.

Чтобы отсечь соблазны и сомнения, одолевающие автора, выбираю простой, как правила арифметики, приём поалфавитно выстроить “шеренгу” знакомых поэтов, независимо от их регалий, заслуг, уровня таланта, и рассказать только о том, где и как, всерьёз или вскользь встретился с каждым — и какое впечатление произвели на меня он (она) — и по-человечески, и поэтически.

... Если вдруг из более чем сотни проблесков, промельков, сполохов памяти сложится вдруг (о чём и мечтаю!) пусть не полная, повторяю, очень субъективная, дилетантская, размытая, но всё-таки картина жизни советской поэзии на протяжении 50 лет — я буду счастлив. Ведь каждый поэт — загадка, каждая удачная, выстраданная им строка становится молекулой ноосферы. Изучать, постигать это богатство, гордиться им — нашим потомкам. А нам, уходящим, сдающим смену — важно успеть помочь им глубже понять, в чём же тайна “кастальского ключа” и почему так часто вечные растут из “житейского сора”.

АВБАКУМОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Замечательная, истинно русская (москвичка, архангелогородская по рождению), талантливая и немногословная женщина. Радуюсь, что именно ею открываю свой поэтический “лексикон”. Маша была лауреатом редакции журнала за лучшую подборку года — и вообще все мы относились к ней приветливо и уважительно, а я так, вдобавок, и с тайным чувством вины перед ней. Возможно, оттого, что однажды переврал её имя и обозвал Мариной, на что она отозвалась короткой репликой сквозь зубы и обожгла меня презрительным взглядом.

Лучшие стихи Марии включены в антологию поэзии журнала “Наш современник”, изданную нами к 50-летию со дня основания журнала. Помню строчку из её стихотворения: “Влезло небо в тёмное пальто, рукавами долы загребаёт”. До чего же здорово — о мрачных тучах “дамкловой кратии” над Россией! Суровый, жёсткий стих Авбакумовой родствен тому, чьё имя — стало фамилией Марии.

АЛИЕВА ФАЗУ ГАМЗАТОВНА

Высокая, стройная, жгучая, голосистая. Волосы иссиня-чёрные, расчённые посередине белым пробором. Красавица однако! Я впервые увидел её в Махачкале полвека назад, в 1961 году, совсем ещё молодым, во время первой своей комсомольской командировки. Дибир Магомедов, 1-й секретарь обкома, представил нас друг другу и, обращая ко мне, шутливо заметил:

“Фазу — наша гордость и наша любовь. Смотри и завидуй!” Фазу взмахнула руками, желтоватые “сталинские” глаза вспыхнули, пухлые губы растянулись в широкой улыбке.

Мы потом встречались много раз — и на дагестанской земле, и в Москве. И всегда она была — сгусток энергии, громкого смеха и увлекательных историй. Одна из встреч особенно запала в память. Приезжаю с работы домой, как всегда, поздно, голодный, усталый. Батюшки-светы! В доме моём — дым коромыслом! За столом сидят за коньячком и хохочут жена моя Галя и несравненная горянка! Звеня кубачинскими украшениями (колец, кулонов, колье на ней — видимо-невидимо!), Фазу тут же налила мне стопку “Кизляра”, хлопнула по спине и воскликнула:

— Ну вот, Галочка, а ты говорила — не дождусь!

Я глянул на часы: скоро метро закроют, а ей, как выяснилось, добираться в Переделкино. Фазу весело махнула рукой: детское время, дескать. Посидим ещё, поговорим, споём.

— У Фазу всё схвачено! — бодро заявила она, прощаясь. И тут же пояснила: “колёса” уже у подъезда.

— Да не смотри ты часто на часы. Это вредно. Бег жизни ускоряется! — Чмокнула меня, Галю — и исчезла.

... Потом были совместные поездки на Дни литературы, встречи на объединённых пленумах творческих союзов в Кремле, на празднике “Белые журавли” в Дагестане. Фазу, как нынешняя Анна Прохорова на ТВЦ, всегда была “в центре событий”. И всегда — в густой, неотступной тени великого Расула Гамзатова. Ох, и не любила же она его — до хруста в костях, до скрипа зубового. Всюду ей, как и даргинцу Абу-Бакару, худилась тяжёлая “рука Расула”. А что? Быть бы ей первой среди всех дагестанских поэтов, если бы не Расул. И даже отчество у Фазу было — Гамзатова...

Сидим как-то у меня на кухне, прошу гостью прочесть что-нибудь из новых стихов. Фазу долго отнекивается: дескать, в русском переводе наизусть не помню, а по-аварски читать — время зря тратить... И вдруг вспыхнула, глаза засверкали: “Ладно, я вам в прозе перескажу одну свою балладу!”

... Дочь-горянка жаловалась матери, что муж совсем уже не так, как раньше, ласкает её. Похоже, и на других воровато поглядывает. Мама, что мне делать?

— Пойди, дочка, в лес, выследи тигра и вырви у него из усов два-три волоска.

Задумалась ревнивица надолго — и решилась; прихватив кусок свежей баранины, двинулась в густой лес. Тигр встретил её грозным рыком, но она кинула ему мясо и убежала прочь. Так повторилось трижды, а на четвёртый день зверь уже взял мясо прямо с руки и даже, положив голову на её колени, задремал.

Тут-то и были вырваны из тигриных усов три заветных волоска. Примчалась дева домой, и мать говорит ей примерно следующее: ты сумела укротить тигра, теперь иди и укроти своего мужа!

Не правда ли, прелестная поэтическая притча?

Фазу, Фазу! Как жаль, что безжалостное время прервало наши радостные встречи... Теперь до Дагестана не добраться мне уже никогда. Да и опасно там...

БЕЗЫМЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

По коридорам ЦК комсомола, что располагался в центре Москвы на Маросейке, в начале 60-х время от времени проплывал монументальный походкой **сам** Безыменский, Александр Ильич.

Знаменитым его сделало — на все советские годы — одно-единственное стихотворение под названием “Молодая гвардия”, песня немецких “ротфронтовцев”, переименованная, перелицованная на русский язык ловким полуграфоманом. Стриг купоны всяческих услуг и похвал до самой смерти с одного стихоизделия!

Я дважды лицезрел “бронзоволикого” певца комсомольской юности — в большом зале ЦК ВЛКСМ и в узком кругу сотрудников агитпропа в просторном кабинете секретаря ЦК А. Камшалова. Естественно, вспомнили про “Молодую гвардию”, историю её создания.

— Александр Ильич! — обратился я к “классику”. — Позвольте дилетантский вопрос. У вас в одной строке — “...мы юности не знали в тенётах царских пут” — два очень схожих слова: тенёты и путы. Наверное, для усиления эмоционального воздействия?

Ильич обнажил зубы-клыки, снисходительно улыбнулся.

— Это значит, мой друг, что молодость наша была опутана сетями-тенётами и повязана царскими путами! Подчёркиваю — царскими. Вот есть такие, что говорят, будто я просто перевёл на русский песню немецких революционеров. Но у них никогда царей не было! Именно царскими путами было сковано наше поколение.

“Но у них были кайзеры — всё равно, что наши цари!” Так я должен был продолжить беседу. Но... молод был и не всё ещё понимал.

Почему я столь резок в своей оценке когда-то известного поэта? А вы почитайте хотя бы “Песню о шапке” — удивитесь и расхочетесь. Поэту дали ордер на котиковую шапку, он получил её в спецраспределителе и тут же вознёсся храброй мыслью... аж к мировой революции:

*Будет день: мы предъявим ордер
Не на шапку —
На мир.*

Поэзии — не видеть и не слышать. Одна трескучая публицистика. Куда лучше меня (и ещё короче) припечатал Безыменского остролов Михаил Дудин:

*Волосы дыбом, зубы торчком —
Старый мудак с комсомольским значком.*

Ни прибавить, ни убавить! Здóрово схвачено!

БЛЫНСКИЙ ДМИТРИЙ

Очень талантливый парень, погибший во цвете лет от алкоголя.

Дима (или Митяй, как иногда ласково называл я его в добрые трезвые минуты) был по-русски отзывчив, поэтически простодушен, неотразимо симпатичен. Однако “вино № 21”, водка то есть, раздваивала его, как стивенсоновского героя, на милейшего Джекила в трезвости и злобного Хайда в податии.

Год 1964-й, лето. Ещё Никита у власти. Комсомольская бригада едет из Москвы в Целиноград для творческих встреч с молодежью героической целины. Трое из нас оказались в одном гостиничном номере: я, зам. главного редактора издательства “Молодая гвардия”; Жора Арутюнянц, полковник, Герой Советского Союза, член подпольной “Молодой гвардии”, и поэт-комсомолец Дима Блынский. Всё шло своим жизнерадостным чередом: огромные аудитори, бури аплодисментов, мощные всплески оптимизма.

Приближался день вылета в Москву. И в это время я заметил, что к Диме буквально прилип какой-то поэтический жучок из местных соискателей славы. Жучок с оттопыренным карманом брюк — дураку понятно, что там...

А Дмитрию — **нельзя!** Меня ещё в Москве предупредили: может сорваться с катушек. Я этого прилипалу отвёл в сторонку и жёстко предупредил: смотри, парень... Увы, не помогло. А я-то, легковёрный, успокоился...

Драма разыгралась вечером и ночью прямо в номере. Вдребезги пьяный Блынский, хватая меня и Арутюнянца за грудки, требовал “добавки”.

— Ты, герой, жлоб армянский! Ну, налей хоть полстаканчика, я же знаю, у тебя есть коньяк!

Растерянный Жора жалобно глядел на меня, отталкивал агрессора: да нету у меня, отстань, нету!

Потом пришла моя очередь. Блынский метался по комнате, хлопал дверцей холодильника, рычал и мычал, изрыгая проклятья — и вдруг вскочил на подоконник (а это был 6-й этаж!), отворил окно и завопил:

— Дайте выпить, гады, а то спрыгну!!!

Я кинулся к нему, молниеносно ухватил со спины за пиджак, и мы вместе рухнули на пол.

Неохота вспоминать, как мы рано утром тащили его в самолёт, сколько упрёков и подначек услышали от экипажа и пассажиров. Не буду, не буду больше, хватит!

... Ненадолго спас я Диму от гибели. Через пару лет он оказался в Мурманске, читал стихи морякам... и сорвался в смертельный штопор. Сперва с поклонниками — “за тех, кто в море”, потом в одиночку, в гостиничном номере — из горла. За успех, за победу поэзии над будничной рутинной. Дальше — тишина навсегда...

Уже в XXI веке земляки сумели к юбилею погибшего поэта издать достойный однотомник его стихов. И всё...

Погиб поэт, невольник собственной слабости и людского небрежения. Кто виноват? Да все виноваты... Извечный ответ на извечный трагический русский вопрос.

ВИКУЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Познакомились мы давно, ещё в “молодогвардейские” времена (60-е годы), а друзьями стали, когда я стал заместителем у Стаса Куняева — его преемника на посту главреда “Нашего современника”. Друзьями стали — до самого смертного часа Сергея Васильевича...

Он мужественно согласился на переход Лёны Фролова из журнала в издательство “Современник” к новоиспечённому, малоопытному директору Гусеву. Потом не раз говорил мне, сокрушаясь: “Эх, если бы всё наоборот! Фролов — в издательство, а ты — ко мне в журнал”. Собственно, так и произошло, только через целых 13 лет. И уже не при нём.

Сергей настолько прикипел сердцем к журналу, что появлялся в редакции чуть ли не каждую неделю на протяжении всех последних лет — и ельцинских, и путинских. Приходил то с рукописями, а то и просто “на огонёк” моей сигареты. И часто, махнув рукой и решительно улыбнувшись, говорил: “А! Давай-ка и я закурю, коли так!”

С рукописями, сказал я. Уточняя: это не были новые стихи. Викуловский “кастальский источник” иссяк. Он ещё успел переиздать своё поэтическое “Избранное”, но от былой известности и авторитета не осталось и следа. Новый XXI век оказался беспощаден и к стойким бойцам за Россию, и к баловням судьбы века предшествующего. Всех накрыло огромным цунами безврия, безвкусыя и скоротечной капризной моды.

В глазах Сергея я отчётливо видел негаснущее страдание человека, пережившего свои стихи и свою, пусть негромкую, славу.

Мы похоронили его на Троекуровском кладбище Москвы, неподалёку от МКАД и совсем близко от могилы Юры Кузнецова.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Никогда не были — и не могли быть — близки. Из всех мимолётных отчуждённо-холодных встреч одну забыть не могу.

В 1978 году моему земляку и знакомцу с комсомольских времён Андрею Дементьеву исполнилось 50 лет. По этому случаю в большом кафе собрались гости Андрея. Юбиляр усадил меня на почётное место тамады рядом со своими родителями. Поминутно взглядывая на часы, он тянул время, хотя час торжества уже давно пробил. “Сейчас, сейчас,” — успокаивал Андрей собравшихся.

Ага! Вот в чём разгадка! В дверях появился знаменитый тёзка Дементьева вместе со своей Озой. Не снимая куртки и шапки, Вознесенский полез в карман, достал что-то, размахнулся и швырнул в “президиум”. Я интуитивно отдёрнул голову вправо — а нечто тяжёлое ударило о стенку возле моего уха и, звякнув, упало под скамейку.

Андрей-юбиляр нагнулся, поднял брошенный предмет и радостно воскликнул: “О! Часы!” И тут же вошедший даритель продолжил: “Не бьются и не тонут. Носи, друг!”

Я не то что испугался — был потрясён. Зачем же так, не по-людски? Но ведь и стихи-то у него тоже с вывертом, тоже показушные! “Стиль — это человек”...

Потом год за годом я читал новые книжки и подборки Вознесенского. Далёк от меня дар этот — из какого-то “антимира”: ни разу радостно не

встрепенулось сердце ни от одного его мастеровитого стихотворения. Его поэзия не органична. “Треугольная груша” – точный образ! Он, архитектор по диплому, хотел протащить в русскую поэзию и утвердить в ней своего рода литературный “кубизм”, своенравную экспрессию, расхристанную образность. Не получилось. Не могло получиться: вся история русской поэзии восстала против смутьяна. Любопытно: был у Андрея Андреевича всего один лишь верный последователь, да и тот всего-навсего Пётр Вегин.

ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

Встречи с такими женщинами не просто запоминаются – они украшают жизнь. Лариса – солнышко ясное, сказал я однажды, ничуть не кривя душой. Но для меня, к счастью, она оставалась всегда просто “своим парнем” – весёлым, ироничным, готовым подхватить шутку или изящно обойти неудобную тему.

Лариса часто возникает в моей памяти в образе знаменитой кошки, что гуляет сама по себе по раскалённой крыше XX века. Она писала талантливые стихи, потом стала летописицей “кремлёвских жён”. И то, и другое получалось у неё складно и ладно. Думаю, основательность в литературном деле у неё – от родителей, особенно от отца, чью память и славу дочь бережёт неустанно и преданно.

Мы с Галей однажды посетили ещё официально не открытый музей “Т-34”. Отец Ларисы был одним из создателей советского победоносного танка. В ту пору она ещё только готовила экспозицию будущего музея – но ни секунды не сомневалась, что у неё, как модно говорить сегодня, “всё получится”. Вот эта глубокая вера в правоту и осущест्वимость дела, которому служишь, – и поныне восхищает меня в этой стойкой женщине.

Она, действительно, сама по себе – не за коммунистов, но уж тем более не за либералов, не за “III интернационал” или за масонов – но всегда и неизменно за Россию. Только без громких слов.

Надеюсь, что Лариса долго-долго не будет забыта своим народом – если он таковым останется, а не превратится окончательно в аморфный электорат.

ГАМЗАТОВ РАСУЛ ГАМЗАТОВИЧ

Пожалуй, самый даровитый и, бесспорно, самый известный в России и за рубежом национальный поэт, весь в орденах, премиях и почётных званиях. Рискну сказать ответственно: по заслугам! Правда, иные регалии ему пришлось буквально выколачивать из литературных и партийных чиновников.

Свидетелем и участником одной из таких наградных “баталлий” довелось быть и мне, грешному. 7 сентября 1973 года Расулу исполнялось 50 лет. Возникла ситуация прецедента: до него никому из писателей к полувековой дате Героя Соцтруда не присваивали. Молодёжь, понимаешь. Не успел ещё обрести должной известности. Но, с другой стороны, уже курлыкали в радио- и телеэфире его и Френкеля “Журавли” – миллионы советских людей плакали, мужчины едва сдерживали слёзы, когда звучал голос Бернеса: “Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей...”

Перевёл знаменитое восьмистишие на русский язык переводчик Яков Козловский. Бродит легенда, будто в оригинале, на аварском, журавлей... вообще не было, а скакали в небе какие-то джигиты-призраки. Я в это не верю, поскольку и сам автор, и переводчик с негодованием опровергали эту явно рождённую завистью лабуду.

Вплоть до дня юбилея вопрос о Герое так и не был решён. Расул всё больше нервничал, буквально хватал за фалды секретаря Союза писателей СССР Юрия Верченко, а тот в ответ смеялся, показывал на меня и говорил: “Не мы решаем, а ЦК. У него и спрашивай”. А что я, рядовой инструктор отдела культуры, мог знать, если мы были тогда в Алма-Ате на Днях советской литературы, за тысячи вёрст от Москвы?

Наконец, в ночь на 7-е, пришла весть: всё-таки Гамзатова возвысили до Героя! На моём пиджаке теперь уцелеет пуговица, которую пытался оторвать Расул, грозно рыча: “Звезду Героя дадите?!” Рано утром я, наверное, был первый, кто поздравил юбиляра. Однако бес, который, как утверждал Леонид Леонов, “сидит и дремет **внутри** нас”, подтолкнул меня пошутить над тяжёлым

с похмелья поэтом. Я высокопарно произнёс, что счастлив сообщить ему о высокой государственной награде... ордене Трудового Красного Знамени! Дыныне вздрагиваю, как вспомню медленно сползающую по стенке на пол грузную фигуру Расула... Ничего себе шуточка!

К счастью, всё обошлось. Потом был большой сабантуй, пир горой, нескончаемый поток поздравлений. Но кажется мне: не забыл горец неуклюжую мою выходку. Не раз и не два потом встречались мы, но какой-то почти неощутимый холодок всегда проскальзывал между нами.

... Однажды, не помню уж, в каком году, лежал Гамзатов в "Кремлёвке" по поводу гипертонии. Альберт Беляев, завсектором нашего отдела, поручил мне навестить корифея в больнице. "Знаешь, — сказал он на прощанье, — разорись на чекушку коньячка. На всякий случай". И заговорщицки рассмеялся.

Сидели в палате, ляды точили. Зашёл на костылях Ростислав Плятт (я обожаю его!), потом ещё кто-то. Настало время прощаться. Вдруг Расул тяжело вздохнул и произнёс примерно следующее: "Для полного счастья, ребята, не хватает стаканчика коньячку. Ма-аленького стаканчика!" Плятт замахал руками: как можно, здесь такие строгости...

Эх, была не была! Ведь коньяк иногда рекомендуют сердечникам. Щёлкнул я замочками кейса, зажёл армянские "три звёздочки" — к всеобщему восторгу собравшихся. И была это не чекушка, а полноценная поллитровка "армянского" за 8 руб. 12 коп.

Как тут не вспомнить заодно и короткий анекдот времён А. Н. Косыгина: "Формулу воды знаешь? — Знаю: аш два о. — А формулу коньяка? — Не знаю, подскажи. — Аж восемь двенадцать!"

Не забыть и семейный ужин в имении Расула. Помнится полутёмная большущая столовая, широкая столешница, уставленная всякими вкусностями, молчаливая Патимат, гамзатовский ангел-хранитель.

Это была осень 1991 года, праздник "Белых журавлей". На наших глазах и при нашем бессильном бездействии погибал великий Союз. Оттого и не было веселья, искромётных гамзатовских шуток и реплик в том последнем грустном нашем застолье...

ГЛУШКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

О ней и писать, и вспоминать трудно, тревожно. Она, когда-то друг Станислава Куняева, после его прихода в "Наш современник" вдрызг разругалась с ним, заподозрив в нём (как и в Вадиме Кожинове) "адвоката измены". Измены нашему советскому прошлому, светлым коммунистическим идеалам. Отсылаю интересующихся драматической историей идейной схватки двух больших поэтов, бывших единомышленников, к книге Стаса "Мои печальные победы".

В ней явственно ощущалось что-то фанатичное — как в суриковской "Боярыне Морозовой". Глаза пылали — когда она клеймила врагов и "адвокатов" — иступлённым зловещим пламенем. Как вспомню, так вздрогну... Тяжёлая в общении, она была буквально перенасыщена, перегружена ненавистью и... завистью, которую тщательно маскировали драпри идейных расхождений.

Последняя наша встреча наедине произошла незадолго до её смерти в моём бывшем кабинете в Союзе писателей России. Был какой-то пленум (или секретариат?) Союза — я вышел из зала перекурить. И вдруг — батюшки! — Татьяна. Зная, как тяжело она больна, я хотел ретироваться, но был остановлен.

— Остановитесь, Гусев, — прокурорским тоном сказала Глушкова. — Найдите две-три минуты для беседы со мной. И можете курить, я не против.

Я послушно остался, уже не сомневаясь, о чём она будет со мной говорить. И она запальчиво начала клеймить Куняева, Кожинова, Казинцева — и стыдить меня за то, что я, бывший сознательный комсомолец, работник ЦК, помощник члена политбюро... "Я понимаю: семья, возраст, чужая власть не пощадит... Но есть же у вас, — и глаза её вспыхнули адовым пламенем, — возможность хотя бы неучастия в дьявольской игре промонархистов и предателей? Уйдите на пенсию! И скажите, наконец, своё слово — если оно действительно у вас ещё осталось!"

Я всё-таки оторопел (хотя уже давно предполагал, что такой "вышинский" разговор у нас когда-нибудь состоится); погасил сигарету и ответил примерно

так: “Татьяна Михайловна! Боюсь, мы не поймём друг друга. Все вокруг кажутся вам мерзавцами и приспособленцами. И у меня тоже никаких шансов обрести ваше уважение. Что ж, переживу. Но только одно ещё скажу: ваша абсолютная бескомпромиссность – то же самое, что монастырский затвор. И ни союзников, ни попутчиков у вас не будет”.

... Она была хорошим, классным мастером поэтического слова. “Когда не стало Родины моей”... – эта строка, эти стихи словно острой бритвой ранят сердце. И чего, казалось бы, в них – всё до боли известно, всё “невнысимо ясно” – однако благодаря Глушковой остаётся уже более двадцати лет невыразимой жгучей тайной:

– Когда не стало Родины моей...

ДУДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Он написал сам о себе такую игривую, отнюдь не самокритичную (как может показаться) эпиграмму:

*Михаил Александрович Шолохов
Для простого читателя труден.
И поэтому пишет для олухов
Михаил Александрович Дудин.*

Что поделаешь – в памяти застряли именно короткие дудинские шаржи в стихах – смешные, не всегда цензурные, но всегда убийственно точные (напомню хотя бы двустишие о Безыменском). Да, и ещё я цитировал в своей статье “Правнуки Победы” (“Наш современник”, № 8, 2005 г.) его грустное и провидческое стихотворение “Я всей жизнью своей виноват...”. Поэт так выразил свою сверлящую душу тревогу об угасании, исчезновении у потомков высокого почтения к великому подвигу отцов:

*— И тоска мою душу гнетёт,
И осенние никнут растенья,
И по мрамору листья метёт
Оскорбительный ветер забвенья.*

И потому, думаю я, Михаил Александрович незадолго до своей кончины сумел переломить, преодолеть долгий приступ диссидентского, либералистского отречения своего от советской власти, от партии, которая, говоря словами Шолохова, великого его тёзки, дала писателям всё, кроме права писать плохо.

Он сумел уйти в мир иной достойно, сбросив с души жёрнов двуличия и конъюнктурности. В Иванове, в литературном музее я, стиснув зубы, слушал последнюю магнитную запись – завещание и покаяние Героя Соцтруда, охмурённого в начале 90-х дурью перестройки и жаждой “свободы во что бы то ни стало”. Он, ленинградец, перед смертью завещал похоронить его на сельском погосте под православным крестом рядом с матерью.

... Мы с Юрой Орловым, ивановским поэтом, прошли по осенней хляби не одну сотню метров к смиренному кладбищу, к дудинской могиле. Тёмно-серый гранитный крест, напротив – полуразрушенная церковь. И оглушительная, надмирная тишина.

... Его могилку тоже обметает “оскорбительный ветер забвенья”. Sic transit gloria mundi. Так проходит мирская слава...

ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мой земляк (калининский-тверской) старше меня на целых пять лет, и эта разница стала незадолго до нашего знакомства причиной первой – заочной – моей стычки с подающим надежды провинциальным поэтом. Работал я тогда последний годик в ЦК комсомола замзавотделом пропаганды (1968 г.) и вполне вписывался в когорту “бородатых комсомольцев” – на выданье в партгосаппарат. И вдруг меня вызывает Сергей Павлович Павлов, 1-й секретарь ЦК, и говорит: “Побеседуй с пареньком из Калинина: талантливый поэт, образованный, речистый, активный”. И протянул мне через стол личный листок по учёту кадров.

— Сергей Павлович! — удивился я, пробежав первые строчки листка. —

Да ему же сорок лет скоро! Совсем не комсомольский возраст!

Брякнул — и поперхнулся: самому-то Павлову тоже сорок! Да и настрой у шефа явно в пользу незнакомца. Полоснув меня молниеносным блеском голубых глаз, Павлов всё же сдержался и только процедил: — Побеседуй. . .

Потом был ещё почти целый год совместной с Андреем работы в ЦК и проживания в дачном посёлке Вялки, что в ближнем Подмосковье. Потом я ушёл служить в другой ЦК, а Дементьев остался в “нижнем” на моей должности замзава, пока его не переместил в журнал “Юность” Борис Полевой.

И ещё почти десять лет, вплоть до юбилея Андрюши, о котором я частично уже рассказал под буквой “В”, мы встречались домами, спорили, читали стихи. . . ну, в общем, были почти друзьями. Помню его первую (или вторую?) жену Галю, которая, как мне рассказывали, буквально вытащила Андрея из пучины пьянства и одичания (так ли это было — не знаю, да и не надо: нынче он — **мэтр**, участник бесчисленных телешоу, широко узнаваем, несмотря на почтенные 84 года от рождения своего).

Однако год от года (особенно после его 50-летнего юбилея, который начался с хулиганского “броска часами” его уже знаменитого тёзки) трещины в наших отношениях становились всё шире. Андрей всё дальше уходил в стан “шестидесятников”, комсомольский пыл в нём окончательно угас. Он нашёл себя, своё место в ряду “эстрадных поэтов”. Многие его вполне рядовые стихи были положены на музыку (и Михаил Муромов, и Евгений Мартынов столько для его возвышения сделали! “Яблоки на снегу”, “Лебединая верность” и т. д.). Патриотическая насыщенность его “молодых” стихов осталась в прошлом, либо приобрела какую-то быстро линяющую плакатность.

Ну, а потом, “когда не стало Родины моей”, Андрей несколько лет жил-поживал в Израиле с очередной своей супругой в качестве телекорреспондента. Вспомнилось тогда: мама его и отец, сидевшие неподалёку от меня в “президиуме” Андрюшиного юбилея, ну никак не были похожи на русских твёряков. Ну никак!

. . . Совсем недавно моя Галя видела в “ящике” очередной телесеанс Дементьева и доложила мне, что Андрей весьма тепло отзывался о Геннадии Гусеве, называя его своим “другом” и расточая похвалы. . . “Почти другом был” — написал я только что. Но это было давно, хотя и правда. А сегодня. . . аффилированный (как модно нынче говорить) в механизм либеральных СМИ, регулярно печатающийся в гусевском “МК” Андрей давно уже не друг мне, не товарищ, не брат по борьбе.

ДОБРОНРАВОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

На одном крыле не летают. На одной ноге далеко не ускачешь. . .

Судьба этого всероссийски известного поэта сложилась неповторимо. Молодой, красивый, весёлый Николай встретил свою единственную, дражайшую, навсегда любимую Александру — и вышла в итоге неразлучная семья и уникальный творческий дуэт — поэт и композитор, одарившие радостью, раздольем, певучестью своих песен миллионы уже ушедших в мир иной и живущих ныне поколений, чьей Родиной был великой Советский Союз или новая — страждущая и верящая — Россия.

Между прочим, так сложилось, что ни в одном поэтическом перечне, что присутствуют либо в официальных писательских докладах, либо в обзорных критических статьях, вы почти не встретите фамилии Добронравова. Как говорится, ни “во первых строках”, ни в последних. Он, как правило, попадает в безликое, как братская могила, “и т. д.” или “и др.”. Зная Николая, его характер, свидетельствую: его это ничуть не огорчает. Скромнейший человек, он, тем не менее, вовсе не считает себя “недооценённым” — ещё бы, при такой-то огулнительной популярности в народе! Он просто знает: его Аля, её музыка — второе крыло его скромной поэтической музы, надёжно и точно несущее стихи в многомиллионные уши и души людские.

Была в моей жизни, как подарок судьбы, роскошная южная — сочинская — неделя дружеского общения со “звёздной” четой Добронравов-Пахмутова. Тогда, осенью 1988 года, мы были ещё благополучными отдыхающими в совминовском санатории “Россия”. Отчаянно купались в море, с шутками-прибавками ходили в город на базар и обязательно покупали много-много крупных

помидоров “быче сердце” — их обожали наши с Николаем супруги. Чаи гоняли, о себе рассказывали друг другу — и наговориться на могли. А Союзу ССР и дружбе нашей оставалось всего-то три года жизни. . .

Уже 19 лет работаю я в “Нашем современнике”, но ни разу за это время даже не возникал вопрос о публикации стихов Н. Н. Добронравова. И это, я знаю, не от какого-то “снобизма” большого русского поэта Ст. Куняева. Николай Николаевич сам ни разу не приходил в редакцию с рукописью. Думаю, это объясняется нерасторжимостью, слиянностью его стихотворных текстов с музыкой Александры Николаевны. Не развязать, не разделить. Дрова, даже сухие, остаются просто осколками дерева, пока их не охватит живительный жаркий огонь.

И в самом деле. Из множества замечательных пахмутовских песен я, пожалуй, больше всего люблю “Надежду” (причём в исполнении Анны Герман, несправедливо рано покинувшей землю). Но что такое гимн надежде без музыки и чарующего голоса? Вполне дидактический текст, где “удача — награда за смелость”, где звезда — “памятник надежде” и т. п. Но всё-всё волшебным преображается при первых же звуках незабываемой мелодии!

Так что? Н. Н. — просто поэт-песенник, из того же ряда, что Танич, Пляцковский, или того горше — картинный бездарный Резник? Нет и ещё раз нет — Добронравов из другой когорты, где правофланговыми русские песнетворцы Алексей Фатьянов, Михаил Исаковский. Именно так — песнетворец! И не иначе.

ДРУНИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Короткие дни искреннего товарищеского общения с поэтом-фронтовичкой Друниной не могли не остаться в памяти. 1991 год, август. . . Всего два месяца тому назад погибла наша старшая дочь Ирина, и мне с трудом удалось уговорить убитую горем жену поехать на юг, в Дагестан, на литературный праздник “Белые журавли”. В составе писательской бригады москвичей была и Друнина.

Ей оставалось жить чуть больше месяца. . .

Она буквально вытащила мою Галю из бездны отчаяния. Всё время была с нею рядом, волокла её к морю, в город, к людям — в общем, всячески пыталась “развить горе верёвочкой” и доказать неожиданной подруге, что жизнь хороша, что не всё потеряно!

А сама была снедаема жгучей неотвязной мыслью о погружении родной и любимой страны в пучину нестроения и смуты. Чутким сердцем поняла она: ночные песни вместе с “защитниками Белого Дома” во славу Ельцина оказались **изменой** России. Так родились предсмертные обжигающие строки: “. . . как летит под откос Россия — не могу, не хочу смотреть. . .” И выбрала смерть. И навсегда осталась в русской поэзии.

ДРОННИКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Витя — один из самых талантливых “орлят” (орловских писателей, наследников Тургенева, Бунина, Лескова). Увы, и он, и дорогой моему сердцу мастер “малой прозы”, собрат по комсомолу Ваня Рыжов уже никогда больше не порадуют новыми вспышками, новыми взлётами таланта. Улетели навсегда. . .

Словечко “взорлим!” запомнилось мне особо именно в “дронниковском” толковании. Как-то, наливая по новой, улыбаясь и повышая голос, он торжественно произнёс: “Взорлим, други! За матушку Русь и её литературную столицу!” То есть — за славный город Орёл.

. . . Помню Виктора молчаливого, мужиковато-нерешительного, будто и не горожанина вовсе. Было это в один из моих теперь уже давних приездов в Орёл, когда был ещё жив Лёня Моисеев, секретарь местной организации писателей, поэт куда меньшего калибра, чем Виктор, человек шумный и очень сильно пьющий. И как “подбросит уголька”, так неудержимо рвётся читать свои стихи. Дронников был куда более скромнен и строг.

Вот судьба — загадка-неугадайка: неожиданно — после долгого перерыва — Стас Куняев не просто решил, а радостно заторопился поставить в очередной номер большую подборку Витиных новых стихов. Я обрадовался, спросил — не удержался: “Хорошо?” И Станислав Юрьевич, необыкновенно скупой

на подхвалы, ответил мне — и в голосе его сквозило удивление: “Очень сильная подборка!” Он взял в руки листок и прочёл мне короткое стихотворение, две строчки которого запомнились — о чудо! — сразу и надолго... “Я, как Есенин, не умею... В поэзии нельзя уметь”. Коротко и точно! Дано или не дано.

Через несколько дней мы узнали, что Виктора не стало...

ЕВТУШЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Строго говоря, он не совсем Евтушенко. По-русски (то есть по отцу) он — Гангнус. Фамилия отцовская, честно говоря, не вполне благозвучна, особенно во второй её части. Однако брат Жени соблюдает традицию, остался Гангнусом. Так ведь он — не поэт.

... Совсем недавно по телеканалу REN TV в концерте известного сатирика Михаила Задорнова (сына советского прозаика Николая Павловича Задорнова, воспевшего в своих романах русский Дальний Восток) выступала 9-летняя девочка, которая необыкновенно, не по возрасту выразительно и проникновенно прочитала известное стихотворение Евтушенко “Идут белые снеги”. Я был почти до слёз растроган: “Если будет Россия, значит, буду и я”.

Мы с Евгением одногодки. Многие из нашего “потoka” уже ушли из жизни и легли в русскую землю. Но Евтушенко, политический вертухай, успел не только всем властям послужить (от Ленина и Сталина до самого Ельцина и Путина), но и отечество сменить.

... Всего лишь несколько раз судьба сводила меня с этим человеком. И остались эти встречи в памяти каким-то досадным грузом — не тяжким, нет, скорее противным, как чирей на сидячем месте.

Какой он мастер всё вывернуть, перелицевать, переиначить, преувеличить — или унижить (в зависимости от того, куда дуют ветры истории, где его острый нюх чует новые политические или социальные веянья)! Поэт-флюгер, поэт-арлекин... Слышу иногда по радио “примадонну” (А как же без неё? Никак!) — и в памяти тут же возникает Евтух — пёстрый, как петух. Ни разу не видел пёстро-клетчатого в нормальном костюме и говорящим просто, а не витивующим.

Вспоминается, как будущий “охлахомец” выцыганивал у меня издательский договор по высшей ставке гонорара за небольшую по объёму книжку новых стихов. Все мои резоны, в том числе и “моралите” о собратях-поэтах (дескать, тебе больший тираж и гонорар — а придётся урезать у других), разбивались, как кувалдой, одной фразой: “Пусть победит сильнейший и талантливейший!” Этакий нутряной социал-дарвинизм, что утвердился теперь в России — даст Бог, не навсегда...

Ну, а “подстава” с жалобой Суслову на инструктора ЦК Гусева, который “оставляет моих детей без молока и хлеба, запрещая печатать в журнале “Аврора” мою новую поэму”, — это просто классика жанра. Как говорится, нет слов: ведь от одной только книжки поэт, щедро издаваемый в СССР, получал гонорар, сопоставимый со стоимостью автомобиля. Не “Майбаха”, конечно, но всё-таки...

Евтушенко ещё при жизни организовал на станции Зима музей имени себя любимого. Периодически наезжает в Россию из Штатов — чтобы не забывали туземцы “больше чем поэта”. Но чем больше пены и треска — тем всё меньше, неизмеримо меньше любви и восхищения к даровитому стихотворцу, разменявшему талант на моду и конъюнктуру...

ЖИГУЛИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Я знал двух Жигулиных: “тихого лирика” советских времён и демократического витию времён горбачёвско-ельцинских. Анатолий-1 был сосредоточенно-скромен, даже застенчив; беседовать с ним было одно удовольствие. Запомнилась мне звонкая, весёлая строчка: “Жизнь моя! Простор звенящий!” Но никогда, ни слова — о прошлом. А потом, когда воцарилась разнузданная свобода и столь же разнузданное поношение советской власти и коммунизм — пришло время Жигулина-2, “апрелевца”. Пришло время мстить Сталину и КПСС за отсидку по 58-й...

Анатолий — поэт сильный, нежный, органичный, с глубоко сокрытым тайным смыслом стиха. И не только “зэковским”. И во взгляде, и в лучших вещах

его постоянно сквозила, ныла, почти неслышно плакала нота какой-то вселенской грусти...

ЖАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Летом 1956 года, в самом начале комсомольской карьеры, мне довелось целый долгий день провести вместе с известным когда-то комсомольским поэтом, напарником А. Безыменского, горячим интернационалистом А. Жаровым. Ну ж был денёк!..

... В крайкомовском “газике” по узкому шоссе мчимся из Краснодара в станицу Усть-Лабинскую. Слева и справа – чуть уже желтоватые стены мощной, высокой кукурузы, тянущей к жаркому солнцу налитые солнечным соком тугие початки. Едем с живой легендой на встречу с молодёжью. А “легенда”, сидя рядом с шофёром, всё ворчит и бурчит, всё ему не так: и койка в гостинице скрипела, и хамы на улице голосили – спать не давали...

“Пускай поворчит, – прощал его я. – Такая трудная боевая молодость была у старика!” Теперь смеюсь над собой: ведь Жарову тогда было всего 52 года!

Стал взрослее и понял я: ворчал и фыркал поэт не от старости. Первопричиной вечного недовольства был **комплекс** недооценённости, недонаграждённости, прижизненного угасания популярности, коим страдали многие творческие личности, особенно избалованные славой в юности. Но что слава? Дым, сладкий тлен – покружила, поласкала, побаловала – и растаяла... Я уж так рьяно хлопал в ладоши, так поощрительно улыбался поэту после чтения им стихов в комсомольских колхозно-совхозных залах (у нас были аж три встречи, последняя на полевом стане, под звёздами кубанскими) – а он морщился, отмахивался, как от надоедливой комара, и бубнил: “Не та комса пошла, не та...”

Больше мы не встречались. После него осталось трёхтомное собрание сочинений, пионерский (теперь уже умолкший) марш “Взвейтесь кострами...” и дорогой моему сердцу “Заветный камень”. Этой песне, думаю, суждена благодарная жизнь в душе и моего уходящего поколения, и ещё детей и внуков наших. А дальше... Взойдёт ли когда-нибудь на крымские утёсы новый русский матрос, принесёт ли Родине новую славу?

ЗАХАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

С этим необыкновенным человеком и оригинальным поэтом судьба свела меня ещё в благословенные годы комсомольской юности.

Необыкновенным – потому что он известен был (и помнится моему поколению) как необычайно “креативный” (иду навстречу теперешней лингвистической моде) пропагандист, скажу больше – певец научно-технического прогресса и всяческих инноваций. Достаточно сказать, что он без перерыва на протяжении более 40 лет (рекорд, достойный книги Гиннесса) возглавлял один из популярнейших советских журналов “Техника – молодёжи”, долгое время вёл на ТВ “продвинутую” передачу, посвящённую научно-техническому творчеству молодёжи.

Вэдэ, или Вэдэшенька – звали мы его, любя и восхищаясь. А когда кто-нибудь, запутавшись в имени и фамилии, именовал его “Василий Захарович”, ВД милостиво поправлял: “Ради Бога, зовите меня просто Жора!” Нестисточимо весёлый был человек...

Почти полгода провели мы с ним рядом, плечом к плечу, в ГДР, работая над публицистической книгой “В гостях и дома. Дома и в гостях”. Книга, приуроченная выходом в свет к 50-летию комсомола, шла трудно, продираясь сквозь жёсткие барьеры цензуры – родной и гдээрзовской, сквозь “колючку” тенденциозно-однобокого взгляда на советскую жизнь со стороны немецкого автора-либерала, западника Райнера Кирша.

Издание спасли ВД и я. Кирш был отстранён от авторства, а Вася смог убедить фотокора Томаса Биллхарда стать “писателем” немецкой части книги, повествующей о молодёжи СССР. Для Васи вообще, по-моему, не существовало чего-либо невозможного...

Последний раз мы встретились в Доме композиторов в день его 80-летия. Запомнилось: длинная столешница, ряды стульев, толпа приглашённых.

Пробил час, а стол пустой – ни еды, ни напитков. Появляется ВД – “могуч и радостен, как бой”, громко приглашает гостей к столу. Удивлённый народ рассаживается – и тут же молчаливые официанты разносят тарелки, наполненные закусками, и разноцветные бутылки. Помнится, почтили его своим присутствием Сергей Михалков, старый друг его гроссмейстер и тёзка Смыслов – и много ещё достойных, знаменитых людей.

... Хоронить ВД мне не довелось – лежал в больнице. Не потому ли по сей день он для меня не умер; просто – отчалил в очередную длительную командировку...

Однажды, возвращаясь с крупной попойки в ЦДЛ, я испытал приступ панического страха, когда весьма поддатый Вася, уговоривший меня и Галю сесть в его машину, рисовал на Крестовском мосту такие зигзаги – справа налево и слева направо... Поразительно: доехали – и благополучно. Рисковый и удачливый был!

“Оригинальный поэт”, написал я. И не думаю, что ошибся. Поэзия была для него не просто тайной отдушиной от грохота и звона воспеваемых им машин и аппаратов. Она была негромким голосом души, тоскующей о любви и верности, о дружбе, о вечности. Не скажу (врать не буду), что меня тянет к его стихам. Но в час, когда нахлынут воспоминания о встречах с ВД, восхищаюсь в мечтах его неистощимым жизнелюбием и говорю с благодарностью: “Какое счастье, что встретился мне такой чудесный сочинитель такой интересной жизни!”

КАЗАКОВА РИММА ФЁДОРОВНА

Как ни странно, я близко познакомился с ней, когда уже работал в “Роман-газете”. Об издании сочинений этой поэтессы в самом многотиражном журнале планы, разумеется, и речи не шло. Но редакция “РГ” находилась в том же здании, где размещалось крупнейшее литературное издательство СССР – “Художественная литература”, или Худлит (что позволяло злоязыким говорить о **худой** литературе, якобы щедро издаваемой редакторами упомянутого элитного издательского дома).

Уже и не вспомню, что привело меня в кабинет Валентина Осипова, директора Худлита, в тот день, когда пред наши очи явилась Римма. Напористая, упрямая, она буквально атаковала директора, настаивая на публикации каких-то своих стихов, отринутых редакцией поэзии. И речь вдруг зашла о “еврейских мотивах” в одном из её стихотворений. Валентин, человек с громадным уже издательским опытом (позади была работа в “Молодой гвардии”), мягко и даже полушутливо поинтересовался, с чего бы это вдруг обычное сговорчивая Римма так заупрямилась, так взъерепенилась?

– Знайте, Валентин Осипович: у меня мама – еврейка, и я горжусь этим!

Тут она как бы заметила меня и задиристо произнесла: “А что думает “Роман-газета”? Наверное, удивлены? Разочарованы?” Пришлось, как обычно, заявить о моей интернационалистской позиции и т. п. Римма не унималась: слышала, дескать, о “русском клубе”; слышала-де и о Гусеве, якшающемся с антисемитами... Какая страсть, какой напор!

Потом мы с ней оказались в одной туристической группе – открывали добрую старую Англию. Она секретарствовала в Союзе писателей СССР, в годы перестройки стала рьяной “апрелевкой”. Ни о каких контактах с нею уже и речи быть не могло.

Добротная советская поэтесса, многие стихи которой соперничали с просоветскими одами Роберта Рождественского, превратилась в злобную разоблачительницу “тоталитаризма”. Именно за это её назначили председателем Союза писателей Москвы – либерального осколка бывшего большого Союза, где она долгое время послушно проводила линию КПСС...

Но поэт она была неслабый, высокопрофессиональный, и всё лучшее было написано ею в советские годы. А поэзия, настоящая не злобе и ненависти к матери-Родине (Римма была среди подписантов знаменитого “растрельного” письма Ельцину в 1993 году), обречена на иссыхание и творческую анемию.

Ни слова о Римме, ни вздоха – ни по ТВ, ни по радио. Они и мёртвых любить разучились.

Сколько было обид, если кто-то (в том числе издатели и журналисты) писал её фамилию – по привычке через “о”! Отстаивание “Ё” у поэтессы-патриотки вполне сопоставимо с привязанностью к этой букве у куршевельского богача Прохорова, создателя “народного” Ё-мобиля. Да простит меня Нина, которую я искренне уважаю, за это сравнение с малоголовым дылды, окутанным миллиардами баксов...

Нина умеет завоевывать аудиторию – и заслуживает высокого уважения за внимание к тому, что именуется обратной связью с массой любителей поэзии. Увы, как быстро, год от года, “масса” эта редет, как облаков летучая гряда в одном из стихотворений классика... Карташёва утопала в цветах и овациях ещё лет 10–15 тому назад. Что там Политехнический-1962! Более чем тысячные залы Дома Союзов, ДК МИИТа, доронинского МХАТа, кинотеатра “Мир” содрогались от грома аплодисментов. И маленькая, ладная фигурка поэта на большой сцене, склонившаяся в благодарном поклоне... Что было, то было – и вряд ли скоро повторится вновь. Или я не прав?

КАСМИНИН ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Он ушёл от нас тринадцать лет назад, а душа болит, ноет при частых воспоминаниях о нём – постоянно и жалобно.

Боюсь, что бы ни сказал я о нём – сейчас или потом – всё будет не вполне так, как надо, как он того заслужил. Посему упрощу задачу – не размахиваться на всю ширину и глубину нашей с ним дружбы, а только о самом-самом дорогом, не стираемом временем.

Большой, нет – крупный, упрямый, своенравный мужик – таким он вошёл в 1980 году в мою литературную жизнь. Я, пожалуй, даже чуточку побаивался его – ну, не могучих кулаков, конечно, а широко распахнутых пронзительных глаз, словно проверяющих тебя (и других тоже) “на вшивость”, то есть трусость, мягкотелость, уступчивость. Гена был истинный рыцарь Поэзии; он по-отцовски возился со всеми, в ком чуял или угадывал хоть капельку таланта.

Мы снова воссоединились в расстрельном 1993 году, когда я пришёл на работу в “Наш современник”. Гена настойчиво показывал мне подборки стихов близких редакций поэтов, далеко не всегда соглашался с моими подчас дилетантскими оценками, но дорожил и прислушивался к интуитивным, подчас внезапным суждениям. Окончательно всё решалось, конечно, главным редактором.

...А потом грянула беда. Настигла его меланома. Дозвонившись до Чисова, директора института онкологии им. Герцена, я положил тёзку в клинику, где, увы, всё худшее быстро подтвердилось...

Потом приезжали мы к нему в Реутов, поддерживали как умели, а он день ото дня таял, таял, скукоживался. И, успев прийти к Богу, успокоился навсегда.

Включили мы лучшие стихи Геннадия в нашу юбилейную поэтическую антологию. Всё, что могли...

КОБЗЕВ ИГОРЬ

Я встретился с ним один-единственный раз. Он пришёл ко мне, директору “Современника”, с требованием заключить с ним издательский договор. Ребята из отдела поэзии раньше говорили мне о нём как о человеке нелюдимом, чьё сознание омрачено юдофобией: все беды и нестроения русские он-де склонен объяснять происками “сынов израилевых”...

Что осталось в памяти? Молчаливое рукопожатие, угрюмые глаза. Угрюмые – и настроенные: вряд ли этот курносый “цекист-интернационалист” подпишет договор с русским поэтом, знающим, кто во всём виноват.

А мне тут же вспомнились две строчки из чьих-то стихов: “Нем и мрачен, как могила, едет гуннов царь Аттила”. Конечно, на царя Кобзев явно не тянул, но “нем и мрачен” – подходило в самый раз.

Договор я подписал, книжечка его вышла в свет.

... Минули годы и годы. Подошлав этой рукописи очередь буквы "К". Игорь Кобзев: а отчество-то? Заглянул в справочник 1986 года — нету его! Полистал энциклопедический литературный словарь — тоже нету! Настала очередь "словаря-справочника" С. Чупринина, сработанного уже в XXI веке. Бог мой, кого в нём только нет — вплоть до жены Высоцкого, "изваявшей" одну книжечку воспоминаний о бывшем муже — а о Кобзеве ни слова. Есть Кобзев на стр. 631 тома I — но совсем другой, В. А., какой-то пушкиноед, чья книжка красноречиво охарактеризована в словаре словами рецензента "НЛО" "как канцелярская (по стилю) и графоманская (по мыслям) брошюра". И всё-таки Чупринин этого Кобзева "застолбил". А поэт-антисемита — геть из литературы! А ведь этот начисто забытый ныне поэт сформулировал капитальный для нынешней русской интеллигенции вопрос: *"Вышли мы все из народа... Как нам вернуться в него?"* Ответа нет, а "выход" после краха СССР стал просто бегством из родных палестин: кто на Запад за длинным долларом, ради комфорта и мнимых "ценностей". А кто — стремительно вниз, под социальный плинтус, в пьянство, в бомжи, в никуда...

КОРОТИЧ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Образцово-показательный перевёртыш. То ли в 1979-м, то ли в 1980 году я с удовольствием подписывал в печать вёрстку его хлёсткой антиамериканской публицистики, которая разлетелась по всему Советскому Союзу циклопическим тиражом почти 4 миллиона экземпляров. (Не забыть оторопь, которую я ощутил на складе готовой продукции Чеховской типографии, где печаталась "Роман-газета": огромное безлюдное помещение и, насколько хватало глаз — влево и вправо — упакованные пачки журнала от пола до вышеченного потолка. Целую тайгу, не меньше, пилили на один только номер!)

И десяти лет не прошло, а Виталик стал верным, суетливо-активным подельником "прораба перестройки" А. Н. Яковлева. Отодвинув в сторону могучего "коммуняку" Софронова, Коротич зажёг для страны обманной, болотной "Огонёк", заманивающий "совков" в демократию, на свободу по-американски, которая вдруг оказалась лучше, чище, комфортнее, чем тоталитарная советская несвобода.

Дальнейшее известно. Лыстивый холоп убежал в Америку. Она не взыскала с него за прошлую ругань — он её отработал с лихвой...

КУГУЛЬТИНОВ ДАВИД НИКИТИЧ

Мы часто виделись и общались с ним в советские времена. А в 1986 году вместе (так совпало) отдыхали в Карловых Варах: он, увенчанный всеми возможными наградами державы, и я, помощник Предсовмина РСФСР. В конце отпуска Давид пригласил меня в свой отель. Звучали цветистые тосты за мир, за дружбу, за Россию. Но у меня в самом укромном уголке сознания таилось, словно степной зверёк в норке, глухое недоверие к речистому и громогласному визави...

Дело в том, что до меня ещё в Москве докатились слухи, будто Кугультинов сотрудничал в годы войны с фашистами, был чуть ли не эсэсовским офицером-пропагандистом во вражеском калмыцком военном формировании, а потом как-то хитро, змейкой увильнул от кары — и превратился в главного певца своего маленького, но гордого народа. Впрочем, слухи, словно мухи, как писал совсем другой поэт...

... Прошло ещё пять лет. Осенью проклятого 91-го ко мне в кабинет на Комсомольском вошёл калмыцкий поэт Алексей Бадмаев. "Надо поговорить, Михалич", — заявил он и плюхнул на стол передо мной внушительную папку. Я стал листать её. Да-а, там были в том числе старые фотографии — прямо скажу, не для слабонервных! И человек на многих из них весьма походил на Давида Никитича...

Я озадаченно сложил бумаги и фото обратно в папку, протянул её Алексею и заявил: "Не мне, дорогой, надо это предьявлять! Этим занимается Контора. Я не Давид, да и всему Союзу вряд ли под силу свергнуть такого Голиафа, как Кугультинов".

Конечно, я всё рассказал Бондареву. Шеф был, как всегда, краток и точен: "Не наше дело. Если понадобится — без нас разберутся".

Не понадобилось. Певец дружбы народов на какое-то время преобразился в антисоветчика и русофоба, а потом ушёл в мир иной... Нынче о нём в литературном мире ни слуху, ни духу.

КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ

О великом поэте, крупной, неординарной личности невозможно рассказать сколь-нибудь внятно и толково “в алфавитном порядке”.

Всего три эпизода из многих лет общения с Поликарпычем. Близко, товарищески сошлись мы с ним в 1981 году, когда появилась в “Современнике” возможность поручить ему заведовать отделом поэзии. Я было совсем решился, да отговорил меня Лёня Фролов, главный редактор. “Поэт очень хороший, – сказал он, нажимая по-костромски на “о”. – Но очень капризный, заносчивый, нетерпимый к чужому мнению. Намучаемся с ним. Не советую”. И я струсил...

Однако судьба-индейка всё равно свела нас близко – уже в “Нашем современнике”. Он упорно называл меня на “вы” (моложе был на 8 лет), но в остальном, кажется, почитал за своего, часто заходил в мой кабинет поговорить по душам, а когда душа его “горела” с утра – звал к себе на 1-й этаж остограться. Трудно, ой, трудно было отказать живому классику.

Пронзительно ясной, будто вчера, картинной живёт в душе поездка во Владимир и посещение храма Покрова на Нерли. О, это непередаваемое чувство духовного вознесения, когда голова запрокинута в глубь церковного купола! Когда мы вышли из храма, я спросил его, можно ли только что пережитое передать в стихах. Юра ответил: я попробую. И написал потом свою трилогию о Христе.

...Так было суждено, что я оказался последним из всех не родных, но близких ему людей, с кем он разговаривал за несколько часов до кончины. Мы с женой еле успели впрыгнуть во внуковскую электричку на Москву, а там, в вагоне – Кузнецов! Замкнутый, сосредоточенный. Минут двадцать поговорили о том, о сём, сказали друг другу, пожимая руку на прощанье: “До завтра!” А назавтра его уже не стало. Навсегда...

КУНЯЕВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

Труднее всего “упаковать” его в алфавитно-справочный, почти бесстрастный мемуарный текст. Столько вместе пройдено, пережито, переговорено, переспорено... В одном только “Нашем современнике” плечом к плечу, душа в душу – уже девятнадцать лет!

О нём, своеобразном, ярком поэте узнал я, конечно, сразу по приезде с Кубани в Москву. Ещё до прихода в “Молодую гвардию” на одной из аппаратных “планёрок” Сергей Павлов сказал: “Отделу пропаганды надо постараться приблизить к комсомолу группу талантливых молодых поэтов – Евтушенко, Рождественского, Куняева...” Евтушенку приблизили – свозили на знаменитый молодёжный фестиваль в Хельсинки, и он отписался нашумевшим тогда “Сопливым фашизмом”. А Куняева – не приблизили: не поддающимся идеологической конъюнктуре он оказался...

Шли годы. Я подружился с Володей Фирсовым. А Стас ещё долго был “за кадром”. Как-то в издательстве у Валентина Осипова познакомились-поручкались, но сам этот момент не запомнился. Знакомы – и всё.

По-настоящему, по-товарищески объединила, сплотила нас, не убоюсь патетики – любовь к России, тревога за неё – и неприятие либерального “прогрессизма”. Стас после знаменитых своих поступков – участия в дискуссии “Классика и мы”, письма в ЦК КПСС о русофобско-еврейском засилии в литературе и искусстве советской страны – стал для власти реакционным русофилом и, следовательно, не премируемым госпремиями.

...В 1987 году стотысячным тиражом вышел в свет “Литературный энциклопедический словарь”. Сколь важно любому писателю попасть в такое издание, “застолбить” своё имя на века – объяснять не буду. Как говорится, невыносимо ясно. Полистайте страницу 629. Начальные “Ку...” – Кайсын Кулиев; неведомый Моисей Кульбак, автор поэмы “Буня и Бера”; японец Куникида; однофамильцы Кунья – уругваец и бразилец – а Куняева нет! Не поленился, полистал – так и есть: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский – все

на своих мстех: “рус. сов. поэт”. И Жигулин Толя – “рус. сов. поэт”. А Куняев – нет? Или просто “рус. поэт”? Не в этом ли отгадка отсутствия его фамилии?

В том же 1987 году (я уже был помощником Председателя Совмина России) Союз писателей выдвинул на соискание Госпремии РСФСР им. А. М. Горького критико-публицистическую книгу С. Ю. Куняева “Огонь, мерцающий в сосуде”. Секция литературы уважаемой комиссии по присуждению премий во главе с Михалковым высказалась “за”, правда, большинством в один или два голоса. Но другие, более чем уважаемые, вхожие в самые высокие кабинеты члены комиссии возмутились, возопили: “Как можно присуждать Госпремию человеку, позволившему себе в этой книге усомниться в общенародной любви к творчеству Высоцкого? Да это же явно от зависти! И, опять же, выпячивание “русской идеи”, “русского самосознания” в пику социалистическому интернационализму...”

Казалось, всё решено. В проекте постановления Совмина о премиях фамилия Куняева не значилась (как и в упомянутой выше энциклопедии). До торжественного вручения премий оставалось двое (или трое) суток.

...Я пришёл уже поздно вечером в кабинет Воротникова, держа в руках книжку Стаса, и попросил шефа прочесть (“ну хотя бы главу четвёртую, где о Высоцком”) эту книгу, вычеркнутую из премиального списка. Виталий Иванович строго посмотрел на меня и спросил: “Вы считаете, что нужно прочесть? Я не потеряю время зря?”

Через день я увидел, что в наградном проекте Воротников своим чёрным “паркером” от руки вписал фамилию Станислава Куняева отдельной строкой в перечень лауреатов в области художественной литературы.

А через четыре года Стас, уже главный редактор журнала, позвонил мне домой и спросил, кого я мог бы порекомендовать ему на освободившуюся должность первого зама. Уже изгнанный из Союза писателей, я без ложной скромности предложил свою кандидатуру. Станислав поверил мне. И я до сих пор благодарен ему и за доверие, и за братскую поддержку.

... Скоро ему исполнится 80 лет. Всё настойчивее одолевают его болезни, “тяжелее путь и тоньше нить”. Но мужественный, крепкий, цельный человек не просто не сдаётся – наращивает напор неиссякаемой творческой энергии. Он приветствует звоном боевого щита активные, несломленные силы России, укрепляя их новыми духоподъёмными книгами.

... А вот стихов больше не пишет. Уже 20 лет, с той поры, как погиб СССР. “Я сказал поэтическим словом всё, что хотел сказать, – говорит он. – Для меня настало время суровой прозы”.

Он сам теперь стихов не пишет, зато издаёт вот уже 23 года самый поэтический в России журнал!

МАРКОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

К своему 55-летию в сентябре 1988 года я вдруг получил поздравительную открытку от Алексея Маркова, с которым когда-то, в 70-е, жили по соседству на улице Яблочкова. (Гуляли, пиво пили, обсуждали разные актуальные проблемы; чаще всего – засилие в литературе и искусстве евреев-“прогрессистов” и западников. Потом разъехались в разные углы мегаполиса и долго-долго не виделись.)

Алексей написал мне вот что:

“Милый, чуткий, верный в дружбе Геннадий!

— Пусть будет чисто в небе
И свежи будут травы,
Не будет в русском хлебе
Химической отравы.
Пускай сердца людские
Не будут бессердечны,
Традиции России
Не умирают вечно.
А Вам желает лично
Удачи, счастья Марков.
Целую Вас публично
и обнимаю жарко!”

И — никаких намёков на встречу, и никаких просьб! А ведь я тогда работал в Совмине РСФСР. Ладно, что касается просьбы, с этим всё понятно: Марков был человек гордый. Но почему же всё-таки вспомнил и поздравил?

В “Современнике”, где я директорствовал до 1984 года, работала его дочь Екатерина. Очень, должен сказать, привлекательная особа. Само собой, вокруг неё кружились всякие (наверное, не обосновательно) слухи и сплетни. Однако в беседах с её отцом эта тема не возникала ни разу.

Алексей бывал мрачен, угрюм и упрям. Никакой склонности к компромиссам. Теперь я думаю, что эти качества природы плюс талант позволили ему задолго до гибели СССР предвидеть беды и пакости конца XX века, постигшие Россию. Но дожить до этого ему было не суждено... Может быть, и слава Богу?!

МИХАЛКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Уж столько о нём говорено-переговорено, писано-переписано. Однако и мне есть что сказать о нём. Как говорится, из личного опыта. И благодарной памяти.

Он пришёл в Союз писателей РСФСР на должность председателя после ухода из жизни Леонида Сергеевича Соболева — милейшего человека, настоящего интеллигента и твердокаменного русского патриота.

Михалков, как известно, тоже дворянского (и древнейшего!) рода, был когда-то любимцем И. В. Сталина и уже многожды орденосцем, включая высшие госнаграды — ордена Ленина. И потому, когда подступила дата его 60-летия (январь 1973 г.), в отделе культуры ЦК, где тогда я работал, было принято такое “соломоново” решение: коль скоро ордена Ленина у него уже есть, ознаменуем юбилей Трудовым Красным Знаменем. Инструктору Гусеву было поручено подготовить наградные документы. Скажу для тех, кто не знает или забыл: указы Президиума Верховного Совета о награждении орденами готовились в ЦК, а в высшем органе советской власти их просто подписывали.

Итак, сию, пишу: “За большие заслуги в развитии советской литературы...” — и тут распахивается дверь моего личного кабинета. Влетает возбуждённый запыхавшийся Михалков.

— Г-геннадий! Это ты оформляешь наградные на меня? — и пронзил взглядом.

— Я, — подтвердил и удивился: что это с ним?

— Им-мей в виду: “Трудовичком” не отделаетесь! — прорычал юбиляр. — Не трать зря время! — И хлопнул дверью. Через пару-тройку дней вышел Указ о присвоении С. В. Михалкову звания Героя Социалистического Труда. Вторую геройскую “Звезду”, к 70-летию, оформлял уже не я.

В 1980 году меня назначили директором первого (и единственного) общероссийского литературного издательства “Современник”. На первую встречу с коллективом, на мою “инаугурацию”, ехали в машине председателя Госкомиздата Свиридова.

— Н-не трусь, — подбадривал меня Сергей Владимирович. — Они там разболтались, но быстро притмирят: у тебя ЦК за плечами!

В этом же духе он произнёс и свою рекомендательную речь. А уже где-то через полгода я вынужден был позвонить ему — лопнуло терпение. С подписанными им стандартными письмами-рекомендациями приходили ко мне один за другим поэты, прозаики, публицисты — и с ножом к горлу: заключайте договор! Чаще всего вскоре выяснялось, что этого делать не сто́ит. Подымался гам вселенский, обиды, угрозы, оскорбления... Вот жизнь была у графоманов! Я, помню, как-то посчитал, и вышло — минимум 8 партгоссовинстанций могли трепать директора из-за обиженного писателя. Увы, чаще — замаскированного графомана... Райком, горком, обком, СП СССР и РСФСР — и, наконец, ЦК. Однажды накатали на меня жалобу аж в КПК — как на несозначательного коммуниста!

— Сергей Владимирович! — взмолился я. — Ну пожалуйста, не вооружайте просителей своими охранными грамотами. Спасу нет!

— Ст-тарик, — как всегда, с очаровательным своим заиканием отвечивал СВ. — Каждый занимается своим делом. Я рекомендую — ты разбираешься и отказываешь, если надо. Я ад-двокат, ты п-п-рокурор. Но в отличие от суда — там всякое бывает — последнее слово за т-тобой. Договорились?

На протяжении последующих четырёх почти лет он ни разу не упрекнул меня, что я “не прислушался”. Это был человек слова. Прямо по Черчиллю: “Я хозяин слова: сам дал его – сам могу взять обратно”. Ну это я так, между прочим.

Его очень любил Илья Глазунов, называл своим Благодетелем. Со мной ничего такого, в смысле благодеяний, не было. Один только раз я попробовал трепыхнуться, когда он вдруг восхотел издаться в “Современнике”. “Но у нас ведь “взрослая” литература!” – попробовал я сыграть в недоумение. Он быстро поставил меня на место, как когда-то с “трудоличком”. Единственное, что утешает: его книга вышла в свет, когда я уже покинул директорский кабинет. Но договор-то по высшей ставке всё-таки я подписывал. . .

НЕФЁДОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

Эх, Женя, Женя. . . Как же славно, как весело жили мы на Внуковских холмах! Но подточила тебя исподтишка, накопилась в сердце ядовитая отравка – и враз всё рухнуло и разбилось, как зеркало, вдребезги. . . Враз – и навсегда.

Поныне тяжело переживаю его уход. Да, мучила астма, да, избыток веса телесного был очевиден. Но ведь не пил, не курил, вообще был враг излишеств! Неисповедимы пути и решения сил небесных. . .

Но всё-таки о его поэзии. Не сомневаюсь, что книги Нефёдова и особенно 20-летний *подвиг* еженедельного сатирико-стихотворного отклика в газете “Завтра” на происходящее во временно побеждённой России останутся в благодарной истории русской публицистики. Как мог, я воспел этот подвиг в своей рецензии на книгу Жени “Птенцы гнезда Бориса. Евгений о неких”. И так уж он меня хвалил за неё! Но я-то знаю, что самой сокровенной мечтой его был переход, перелёт, преобразование в признанного лирика. А политика, как цепкий репейник, всё не пускала в райские сады истинного вдохновения. . .

Помню, шли мы с ним к роднику за водой – это в Перedelкинне, неподалёку от дачи Пастернака. Раскинул он руки и воскликнул громко, радостно: “Узнаю тебя, жизнь, принимаю!..” Потом вздохнул: “Нет, не принимаю такую! Тяжело, Гена. Воспевать бы вот этих весенних птичек, славить эту небесную синь – а у меня в голове всё бесы – меченые, да беспальные, да рыжие мечутся. . .”

Он был рыцарски, несокрушимо предан Красной Империи, своему родному Красному Лиману и своей газете.

НОЖКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Огромной нравственной и духовной силы талант! Он и бард – классом, по-моему, ничуть не ниже, чем до кумира возведённый Высоцкий; поэт пронзительной русской искренности (как выдохнуто перед тем, как шагнуть в огонь: “Последний бой – он трудный самый. . .”); и, конечно же, замечательный артист. А уж о мужском обаянии, притягивающем людей к нему, словно магнитом, и говорить нечего!

Он подарил мне своё аудиособрание сочинений – целых 12 кассет! Поистине царский подарок. И как только устанет, заночует душа, израненная лицезрением уродств и издевательств новых хозяев жизни над Россией и её народом – включаю магнитола с записями его замечательных песен русского Сопровитвления.

Господи! – взываю я к небесам и иконам. Сделай так, чтобы и Михаил Иванович, и Егор Исаев, и Миша Годенко, и Семён Шуртаков – дорогие мои старики – назло врагам и времени дожили бы до русской Победы!

ОЛЕЙНИК БОРИС ИЛЬИЧ

“Он пошёл поперёк”, – вспоминаю я строчку из “космического” стихотворения Юрия Кузнецова – вспоминаю всякий раз, когда думаю о славном, нестигаемом украинском поэте. В отличие от многих-многих националов, аллилуйствовавших при советской власти, Борис остался верен идеям и правде социализма и дружбы народов.

Замечательный, поистине “широкий” украинец был не просто компанейским, добрым, открытым человеком, но и надёжным товарищем. Мы не стали близкими друзьями, не получилось, как теперь говорят, “по жизни”. Но однажды, когда я редактировал “Роман-газету”, позвонил ему и попросил встретиться в Киеве и переправить в Винницу мою жену с маленькой дочкой. Борис сказал: “Добре”. Но не просто встретил, а показал моим мать городов русских, довёз до Винницы и там сдал их, очарованных “дядей Борей”, с рук на руки моему другу. Такое не забывается.

Олейник — по-настоящему большой поэт. На таких, как он, вся моя надежда: переживём лихолетье самостийности и отчуждения! Всё равно будут вместе две родные сестры — Россия и Украина. И снова в школьных учебниках и на мове, и на русском оживут певучие, мудрые строки Бориса. Трудно сейчас в это верить — но без веры, надежды и любви жизнь иссыхает, лишается смысла.

ОШАНИН ЛЕВ ИВАНОВИЧ

Думаю, что творческое бессмертие (точнее — долголетие) в памяти русского народа Льву Ивановичу гарантировано: невозможна духовная, эмоциональная картина Великой войны без его фронтовых песен. Любая строчка из баллады “Эх, дороги” — любая! — рассказывает о народной беде и грядущей победе больше, чем иные скучные романы или трескучие репортажи. “...Твой дружок в бурьяне неживой лежит...” “...У крыльца родного мать сыночка ждёт...” Звучат эти строчки — и несёт тебя, душу твою по опасным, пыльным и туманным дорогам войны — а кругом бушует пламя, земля дымится — и дороги эти позабыть нельзя. Невозможно!

ОРЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

“Его зарыли в шар земной...” Золотая строка, обеспечившая автору долгою-долгую известность. А был он, говоря его же словами из великого стихотворения, “всего, друзья, солдат простой без званий и наград”. Нет, конечно, у героя-танкиста Орлова было звание, были награды, была и должность — секретарь правления Союза писателей России. Но какое значение всё это имеет “sub specie aeternitatis” — с точки зрения вечности? Мне кажется, он, горевший в пылающем танке, вырвавшийся из цепких лап смерти, постиг самое главное: смысл жизни — в готовности пожертвовать ею ради славы и самостояния Отечества. А остальное — мелочи, житейская шелуха. От Сергея воистину веяло вечностью.

Он был положен в шар земной в 1977 году. Через 32 года после войны она, проклятая, всё-таки настигла его. Но стереть, вытравить его имя из великого перечня русских героев, победивших фашизм, — не удастся никогда, покада жива хоть одна русская душа на свете.

ПЕРЕВЕРЗИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Одна из самых интересных, выразительных и противоречивых личностей в постсоветской литературной среде. Многие ценят и уважают его (ещё бы! за просто так такими заметными и многое решающими в творческом мире не становятся). Многие, особенно либералы, а также кое-кто из независимых, “не стайных” — относятся к Ивану полупрезрительно-полупижонски и недружелюбно: наехал из якутской глухомани в столицу с большими деньгами русский выскочка, обворожил писателей-патриотов своей решительностью, рискованной натурой — и пролез к вершинам писательской власти. Сам Сергей Михалков, в гроб сходя, благословил Ивана на председательство в Международном сообществе писательских союзов...

А я никогда не забуду, как мы с Геной Касмыниным гостили у Ивана в Ленске, когда он был ещё просто фермером, и мой тёзка готовил к печати первую книжку молодого русского якутского поэта. А вскорости, в декабре 1994 года, когда журналу нашему грозило полное финансовое банкротство, Переверзин, уже зам. главы администрации города Ленска, оплатил сдвоенный номер “НС” (№ 11-12) и спас издание. Такое не забывается!

Потом Иван Иванович перебрался в Москву, стал удачливым шефом Литфонда России и широко “расписался” как поэт. К нему и здесь, на творческой

нине, отношение разное. По-моему, его лирике недостаёт философской глубины — зато буйствуют иногда до очаровательной наивности авторские эмоции. Я — за таких поэтов; хороших, разных, наивных — а иногда и неожиданно мудрых.

ПОЖЕНЯН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Я познакомился с ним полвека назад, в “Молодой гвардии”. Гриша был тогда третью мифического “Горпожакса”, автора лихой антиамериканской книжки (Горчаков, Поженян, Аксёнов). Запомнилось: шумные, громогласные, самоуверенные Гриша с Васей — и тихий, застенчивый Овидий. Разведка шума не любит.

Потом, уже в издательстве, мы снова сблизились с Григорием, но не на почве шпионского детектива, а на поэтическом просторе. Слегка бравлируя своей прозаической оппозиционностью, он даже предложил мне пари, что более половины предложенных им стихов в будущей книге не выйдут, не увидят света — “цензура забодает, старик, вот увидишь!”

К удивлению Гриши, сборник вышел более чем благополучно. То ли цензура не доглядела, то ли автор чересчур тщательно спрятал “фигу в кармане”. Пари — дело святое, и в один из дней мы отправились в Переделкино, на Гришину дачу, отмечать выход “счастливой” книжки.

Ох, и сцепились мы с ним, вдребезги разругались, как только разговор коснулся западных прелестей и преимуществ. В моей жизни это был, пожалуй, единственный случай, когда я в пылу жаркой дискуссии позабыл, что мой собеседник — фронтовик, герой обороны Одессы. Ведь это он так здорово сказал когда-то, что солдату немного нужно — “по трудному счастью на брата да красное знамя на всех”. Увы, ко времени нашей встречи в Переделкине красное знамя сменило цвет на красно-бело-синий...

ПРИМЕРОВ БОРИС ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Поэт милостью Божьей, он даже в светлые советские времена казался кем-то “не от мира сего”: огромные удивлённые глаза, неожиданные слова, непонятные поступки, внезапные перепады настроения. Только что громко, от души смеялся — и вдруг смятение, грусть, чуть ли не отчаяние... Почему? Что случилось? А не узнаешь; спросишь — Борис как-то виновато улыбнётся, слабо махнёт рукой и словечка не скажет.

“Блаженный”, говорили о нём жестокосердые прагматики. “Блажен, кто верует”, — это подходило к Примерову гораздо больше. Думаю, именно вера в чело вечность советской власти помогла ему незадолго до гибели написать едва ли не лучшее стихотворение, обращённое к Господу и к... СССР. “Боже, советскую власть сохрани!” Этот страстный рефрен выразил душевное состояние миллионов людей, осознавших после длительного дурмана перестройки, что и почему они потеряли...

В 1992 году я впервые оказался в литфондовой больнице на Каширке с подозрением на микроинфаркт. Помню, как надо мной склонились два почтенных доктора, повторявших ежеминутно чуть ли не с радостью два слова: “мерцание”, “трепетание”. Это мерцало и трепетало моё изношенное сердце. А на этаже, в соседней палате доживал последние свои земные дни Боря Примеров. Мне до сих пор кажется, что именно там, в больнице, он принял окончательное решение — уйти из этого мира, погрязшего во грехе, блуде и предательстве. Мы гуляли с ним по коридору, обсуждали политические и литературные новости (чего-чего, а новостей тогда было навалом, сверх всякой меры). Одна фраза Бориса резанула меня, уколола, словно спицей: “А зачем теперь жить, Геннадий Михайлович? Ясно же, что всё будет хуже и хуже, и конца этому не видать”. Не мог я тогда предположить, что он уже подводит итог, точнее — черту под собственной жизнью...

РЕГИСТАН ГАРОЛЬД ГАБРИЭЛЬЕВИЧ

Гарик был достойный сын своего отца — соавтора первого советского государственного гимна (вместе с Сергеем Михалковым Эль-Регистан сочинял знаменитый “сталинский” текст, который потом целиком приватизировал

властоугодливый непотопляемый “дядя Стёпа”). Скажу больше – Гарольд для меня служит весомым опровержением старой догмы, будто “природа отдыхает на детях великих людей”. Его поэзия более глубока, более раздольна, нежели традиционно экзотичные строчки папы Габриэля. Кстати говоря, весьма похоже и ещё одно поэтическое “яблоко”, которое недалеко упало от “яблони” – это Расул Гамзатов, во всём превзошедший своего отца, мудрого Гамзата из горного аула Цада.

Они дружили с Фирсовым – значит, рядом с ними, в том числе на “алексеевских посиделках” (в ресторане “Украина” в дружеской компании Михаила Алексева, Ивана Стаднюка, Геннадия Семенихина), бывал и я. Мне и место в застолье чаще всего выпадало рядом с Гариком. И он, постоянно эмоционально взвинченный, охваченный тревогой за судьбу России, одним из первых в нашем круге друзей угадал лживую, беспринципную сущность “безродного баловня судьбы” генсека Горбачёва.

Меня часто корбило регистановское нытьё: всё идёт в державе не так, благородные идеалы коммунизма и даром никому не нужны, зато всем хочется пожить сытно и комфортно – “как у них”.

“Помяни моё слово, Михалыч: скоро мы проснёмся – а Союза-то и нет, исчез, как призрак, потому что все от идей отвернулись, и никакой революции не надо. Победит желудок, восторжествует секс”... Так пророчествовал Гарольд – увы, всё так и случилось.

...Он умер как-то тихо, незаметно – сколь много было таких смертей в годы ельцинского геноцида. Повесился Примеров; задохнулся от негодования Гарольд Регистан...

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОБЕРТ ИВАНОВИЧ

Всё написанное им во славу Советской власти и КПСС – всё забыто и замолчано, словно и не было велеречивых “Двухсот десяти шагов” и множества других, порой откровенно публицистических, крикливо-пропагандистских стихов. Зато либералы, обкорнав поэзию Роберта, всячески выпятили его песенную лирику, созданную поэтом в содружестве с композитором Арно Бабаджаняном. Певец развитого социализма был превращён в аполитичного шоу-поэта.

Когда было принято решение об издании “Нерва”, сборника стихов Высоцкого, именно Роберт согласился написать к нему предисловие. Его друзья и единомышленники – Евтушенко и Вознесенский – слишком откровенно (вероятно, из зависти?) подчёркивали “бардовость”, а не поэтическую самостоятельность поэта-артиста. Кстати, Окуджаву они охотно называли поэтом, хотя оснований для этого у Булата было ничуть не больше, чем у Высоцкого.

Любопытна первая фраза предисловия “От составителя”, т. е. Р. Рождественского: “Эта книга – не песенник”. Хитрый Роберт вроде бы сразу отрезал: Высоцкий больше, чем бард. Впрочем, никакой смелости в этом не было – автор далее всем содержанием своего предисловия утверждал именно песенность, неразрывную связь актёрского голоса и музыки с литературным текстом. Теперь я думаю, что скорее всего Роберт был прав. Но эмоциональный заряд стихов Высоцкого оказался столь велик, столь ко времени великой антисоветской смуты, что до сих пор он, уже в “новой” России, “больше чем поэт”. Или – всё-таки меньше?

Побывал директор “Современника” и в гостях у Рождественского, на переделкинской даче. Что запомнилось? Стойкое ощущение чуждости, постылости быта этой семьи, какая-то деланность речей и почти нескрываемая фальшь совсем ненужных комплиментов. Всё было чужое, холодное – даже еда...

РУЧЬЁВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

На всех мероприятиях Союза писателей России в 70-е годы они были вместе – уральская поэтическая “бригада” во главе с молчаливым, скромным Борисом Ручьёвым. Рядом с ним – статная, высокая женщина с ласковым, чарующим голосом – Людмила Татьяничева, и молодой поэт, бывший сталева-вар Валентин Сорокин.

Я знал, что Ручьёв был жертвой репрессий 1937 года и целых 14 лет отбыл несправедливый срок на Колыме, на “полюсе холода” — возле Оймякона. Как Я. Смеляков, В. Боков, О. Волков, Ручьёв для меня был образцом человека, не сломленного злой несправедливостью судьбы и государства, оставшегося патриотом Отечества, которое не проклинают, на которое не таят обиды и злобы.

Милейший, немногословный Борис Александрович! Сколько же пришлось ему пережить, перетерпеть, выстрадать! Лишь недавно (благодаря публикации в родном журнале) я узнал некоторые подробности лагерного житея Ручьёва — и вновь восхитился нравственным величием этого человека. Он сумел поэтически достойно выразить своё неприятие законов и “понятий” блатного мира, ныне воспеваемого псевдоискусством “свободной” России...

— *...Горд я тем, что не завыл по-волчьи,
В волчьей стае молодость прожив...*

И — жизнеутверждающий, судьбоносный вывод:

— *Горд я тем, что душу от заразы
Для друзей и Родины сберёг.*

Эти слова дорогого стоят!

Замечу ещё вот что: в неоконченной своей поэме “Полюс” Ручьёв впервые сравнивает сталинскую систему лагерей — ГУЛАГ с архипелагом, где “зоны — те же острова”. Так что не Солженицыну принадлежит авторство зловещей метафоры...

СВЕТЛОВ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ

Он по отцу вообще-то Шейнкман, но это не имеет отношения к поэзии, ведь так? Я встретился с ним всего лишь раз, и было это незадолго до его смерти от рака.

М. А. давно и прочно дружил со своим соплеменником, художником-карикатуристом Иосифом Игиным, который активно сотрудничал с издательством “Молодая гвардия” и питал ко мне явную симпатию. Вероятно, и с учётом моей должности. Однажды Иосиф Ильич пригласил меня к себе в мастерскую на Мясницкую (тогда — на улицу Кирова, близ метро того же названия, нынче “Чистые Пруды”).

— Приходите, познакомлю вас с двумя героями моих карикатур. С какими? Секрет. — И интригуяще улыбнулся.

Я поднялся по скрипучей деревянной лестнице старенького двухэтажного дома, вошёл в большую комнату, вкусно пахнущую дорогими сигаретами, варёным кофе и коньяком. “Героями” Игина были два Михаила — Светлов и Таль. Слегка кольнуло сердце: очень уж иссохшим, испытанным, смятым болью, всё в глубоких морщинах, было лицо знаменитого поэта. Но когда разлили свежую бутылку коньяка, Светлов оживился, глаза озорно зажглись: “Ну что, друзья, махнём эту лампаду “за молодую гвардию рабочих и крестьян!” И, почти пропев строчку из Безыменского, улыбнулся мне и “махнул” — не топясь, со вкусом.

Потом я расхрабрился и сел играть в шахматы с пьяненьким гроссмейстером Талем. **Ничья!** Подумать только! Я чувствовал себя чеховским героем, попавшим под лошадь. Да, пьяненький, небдительный — но ведь Таль!

...После этого снова играл в шахматы уже через много-много лет — со своими внуками. И не так удачно. А тем “историческим” матчем у карикатуриста Игина всю жизнь хвастался, правда, обязательно добавляя: “Ну, конечно, Миша Таль был не в лучшей своей форме, но...”

...Игин ещё раз взял меня с собой на свидание с умирающим Светловым. Тягостное зрелище: налитые болью глаза, беспомощная, обтянутая жёлтой кожей рука. “Пива принесли? А рак у меня есть”, — шепнули губы, когда-то выпевшие на весь мир “Гренаду”...

СИМОНОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Поэт, любимый с детства. Очаровывал душу мою ещё с довоенных, теперь уже немыслимо далёких лет. Вместе с Пушкиным. По-своему, по-советски (а Пушкин – по-русски!).

“Был у майора Деева товарищ, майор Петров...” Быстрые, летучие строки – и дерзкий, запомнившийся навсегда рефрен, почти девиз: “Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать! Ничто нас в жизни не может вышибить из седла...” Скольких, кроме меня, вдохновлял этот девиз!

Единственная близкая встреча моя с поэтом (остальные, мимолётно “рукопожатные” – не в счёт) состоялась на закате его земных дней, во время поездки большой писательской делегации в Грузию (осень 1978 года). Я только-только пришёл в “Роман-газету” – не все ещё знали, что я больше не “комиссар от ЦК”. Симонов, уже совсем больной, исхудавший, тем не менее, взял на себя руководство нашей разношерстной оравой, определяя, кто куда поедет на встречи с читателями – кто в Абхазию, кто в Аджарию, кто в Телави, Кутаиси, Цхинвали... Дошла очередь до меня. “Евгений Аронович! – обратился он к Долматовскому, “бригадиру” абхазской писательской группы. – Гусева из “Роман-газеты” – к вам, не возражаете? А то у вас, я смотрю, одни поэты!” Мне на мгновение показалось, что Симонов ненароком зачислил меня в прозаики. Я и обрадовался тайно, и огорчился: если бы... А он посмотрел в мою сторону, грустно улыбнулся и кивнул головой.

Совсем немного времени прошло, и его не стало. Прах его был развеян над кровавым полем боя на Могилёвщине, где насмерть летом 41-го стояли герои-однопольчане, памяти которых он остался верен до конца.

На книжной полке у меня стоит томик стихов Симонова, подаренный в 1985 году художником В. Медведевым, “одетый” в футляр, сшитый из солдатского военного сукна. А на форзаце – солдатское письмо с отметкой военной цензуры, словно пропуск в книгу фронтового прославленного поэта...

СМЕЛЯКОВ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Люблю и преклоняюсь перед этим человеком-глыбой, настоящим русским мужиком, который “гнётся, да не ломится”, до конца на своём стоит, чего бы это ни стоило.

... Повезло мне: я не просто был знаком с неистовым Ярославом, но даже однажды был награждён особым его вниманием – приглашён на его 60-летний юбилей, который отмечался скромно, по-домашнему, среди друзей. Деталей и всех обстоятельств уже не помню. За одно ручаюсь: я был в тот день и час счастлив и красноречив. Ещё бы! Ведь Ярослав Васильевич такой родной, такой **свой**, преданный советскому Отечеству, несмотря ни на что! Наверное, хорошим, проникновенным был мой тост за здоровье Ярослава, оваянного яркой поэтической славой, певца нашей комсомольской юности, – юбиляр неожиданно заявил, рубанув рукой сверху вниз:

– Давай, Геннадий, руководи дальше застольем – у тебя хорошо получается!

Словно приговорил меня 40 лет тому назад на многие годы быть тамадой в самых разных застольях – в родной стране и за границами её.

Стихи Смелякова, его “Работа и любовь”, подаренная мне автором в феврале 1972 года, стали на всю жизнь одним из неиссякаемых моих духовных аккумуляторов. Когда наползает на сердце неожиданная тоска, когда вновь и вновь своей громадной неразрешимостью тревожит кантовско-толстовский вопрос о смысле твоего бытия на земле, я достаю с книжной полки Пушкина, Бёрнса, Юру Кузнецова – и обязательно Смелякова.

Обязательно!

СУРКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Автор бессмертной “Землянки”, знаменитого “Марша защитников Москвы” однажды (уточняя: единственный раз!), уж и не помню – по какому случаю, пригласил меня, молодого “молодгвардейца”, к себе домой, в огромную мрачную квартиру на улице Горького, неподалёку от Почтамта. Я, честно сказать, трепетал: впервые такой человек наедине со мной – “небожитель”,

лауреат и т. д. — как вести себя с ним, о чём говорить, чтобы не заговориться?

Первым делом он достал из холодильника бутылку “Столичной”, какую-то нехитрую закуску. Спросил, какого я роду-племени, как в Москву попал. Словно школяр на экзамене, я сжато отвечал на его вопросы. Чем дальше, тем больше мне казалось, что он похож на мрачного Жарова или на лысого Грибачёва. Да и правда, они были похожи, как родня — писатели сталинского племени, самоуверенные, ревнивые, готовые на всё, чтобы у партии не было никаких сомнений в их преданности, закалённые в политических интригах, осторожные — и беспощадные.

Наша встреча произошла ещё до снятия Хрущёва. Видимо, Суркову очень хотелось выпытать, а как новое поколение, вступившее в жизнь после XX съезда, всё-таки относится к разоблачению культа личности Сталина. Во всяком случае, он скоро повернул наш разговор (под рюмочку, под селёдку) именно в это русло. А я, захмелев и осмелев, заявил хозяину: дескать, непостижимо Сталину невинные жертвы, но всё-таки с ним, с его именем мы победили немцев, бомбу сотворили, в космос вырвались. Ну, в общем, как писал мой друг Феликс Чуев: “Зачем срубили памятники Сталину?”

Сурков, явный сталинист, слушал меня жадно и, по-моему, стальные глаза его оттаяли, потеплели.

СТАРШИНОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Он для меня — один из самых-самых красивых, добрых, открытых людей, когда-либо встреченных на долгих, извилистых дорогах жизни. Одна улыбка была просто бесценна — всё вокруг становилось каким-то родным, понятным, простецким... Великое счастье — хотя бы время от времени встречаться с таким человеком, читать его книжки, упиваться стихами...

Хранится у меня, кроме книжек с автографами, и один — тайный! — экземпляр его собственного “самиздата”. Это — аккуратно сброшюрованный вручную сборничек, содержащий 220 русских частушек — по преимуществу скабрёзных и даже откровенно матерных. Как говорится, “автор неизвестен”, то есть Коля собирал, записывал их по городам и весям матушки-России, хотя-хотал, удивлялся, смущался — и радовался остроумию и неунываемости русских мужиков и баб.

— Обрати внимание, Михалыч, — говорил он мне. — Здесь нет никакого следа западной деловитости и прагматичности в вопросах секса. Наши обязательно — поверь мне, я давно изучаю проблему — относятся к самому интимному с юмором, с непременным преувеличением и огрублением. Никакой поэзии “низа”, только юмор! Это от тайного, скрываемого от людей стыда, поверь мне!

Он был когда-то ротным запевалой, он прошагал и на пузе прополз в годы войны пол-России и пол-Европы — и сохранил в очаровательной детской цельности русскую душу. Молодым помогал, друзьям прощал грешки вольные и невольные, Россию любил беззаветно — а скромен был, как, пожалуй, никто другой из собратьев по перу. Во всяком случае, я никого другого рядом с Николаем поставит не могу. Все — скрытно или явно — считали себя, хоть немножко, “избранными”, Богом отмеченными. Старшинов был абсолютно свободен от гордыни, высокомерия, снобизма. Человек, подобный тёплому и радостному солнечному лучу...

СУХОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Товарищ Сухов — поэт, был, когда позвала Родина, и замечательным красноармейцем. Истинный сталинградец: полон достоинства и серьёзности, подтянут; чуточку суховат. Немногословен. Именно таким и запомнился, хотя разговора по душам с ним у меня так и не случилось. Вот встреча в редакции журнала: беседуют два больших поэта, я — третий, не поэт, слушаю и люблюсь ими. Не выдержал — встрял:

— Фёдор Григорьевич! А как вам сталинградские стихи Михаила Львова? Как они — если без музыки и великого голоса Зыкиной?

— “Когда кипела волжская вода” — это всё-таки поэзия, независимо от Зыкиной, — ответил мне Сухов, кажется, с оттенком недовольства. А Станислав Куняев снисходительно улыбнулся...

СУЛЕЙМЕНОВ ОЛЖАС ОМАРОВИЧ

“Казахский Евтушенко” (и правда, сходство было – какое-то сущностное!), бесспорно, отмечен талантом.

Встречались с ним неоднократно, и всегда – конечно же, не на равных: он – поэт, я – чиновник, пусть и с высшим образованием. Олжас не скрывал своей снисходительности. Лишь однажды возникла ситуация, когда ему пришлось прибегнуть к испытанному восточному приёму – изощёренной лести. Это была история с его книгой “Аз и я”, изданной (даже по тем временам) непомерным для Казахстана тиражом – по-моему, 65 тыс. экз. А я был в отделе культуры ЦК КПСС “куратором” Союза писателей Казахстана и мог весьма подпортить сладкую жизнь Олжаса. Ведь речь шла о явно националистических – сильных! – и даже русофобских мотивах в его книжке. Инструктор ЦК пишет служебную записку... и вдруг возникают трудности с загранпоездками – а будущий мининдел Казахстана ой как любил вояжировать по заграницам! Ничуть не меньше, чем кунак Женя со станции Зима.

“Аз и я”, естественно, была спущена на тормозах. Олжас, как и многие его коллеги в других республиках, продолжал готовиться к отречению от КПСС и Советской власти.

ТВАРДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ

Он был из небольшого числа тех, кто созидал, выстраивал, закалял душу поколений русских людей – тех, кто победил Гитлера, и тех, кто были детьми на пороге или в пламени Великой войны.

Не представляю своих погодков, да и тех, кто учился в советской школе ещё до оскорбительного перестроечного нахрапа: “Даёшь правду – и ничего, кроме правды!” – чтобы не читали они “Тёркина”, чтобы не замирали юные сердечки от страшных, истинно правдивых и беспощадных слов великого стихотворения “Я убит подо Ржевом”. Таким влюблённым в поэзию Твардовского пришёл я на работу в отдел культуры, не предполагая ещё, что, хоть и косвенно, буду соучаствовать в смещении великого поэта с редакторства в “Новом мире”. Не хватило у партии – уже тогда, за 20 лет до её гибели – великодушия и духовной стратегии, чтобы поберечь “Тварда” (уже тяжко больного, кстати), возвысить его в год 60-летия: уж кто, как не он, заслуживал Героя? А мы ему – “Трудовичка”. Дескать, вот тебе за упрямство и непослушание... Ну, и оттолкнули окончательно в объятия недругов, и ускорили гибель...

“Я знаю – никакой моей вины”... И он же, мудрый, понимающий, продлил эту в том числе и мою без вины виноватость гениальным рефреном: “...и всё же, всё же, всё же...” Всё же... я тогда работал в ЦК.

ТРЯПКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Аристократ Глазунов не раз презрительно хмыкал, говоря о русской патриотической поэзии XX века: “Тоже мне классики! Тряпкин, Тяпкин, Туркин...” А ведь стихов Николая Ивановича не читал великий художник! Прочёл бы – не стал бы, я уверен, хмыкать и хихикать.

Тряпкин – по-настоящему большой поэт. “Божья дудка”. Мне довелось быть с ним вместе в трагические минуты его жизни – уже на излёте, когда ударил инсульт, когда в семье его, беспомощного, обессиленного, поднялась мутная волна имущественных дрязг. А поэту, пластом лежащему в кровати, просто грозил голод. Мы с Бондаревым (я был тогда оргсекретарём Союза) нашли деньги; я приехал в дом Тряпкина и провёл суровую, жёсткую беседу с женой, дочерью и зятем поэта – чтобы не травили старика! Николай Иванович, как мог, благодарил меня, мыча и плача, а сердце моё разрывалось от жалости и гнева на Богом проклятого Горбачёва...

В студёную зимнюю пору похоронили мы Николая Ивановича среди россыпи недавних могил на одном из новых московских кладбищ. Почти 20 лет минуло. Скажи мне сегодня – найдёшь могилку Тряпкина? Боюсь, что не найду...

А ещё говорят: “государствообразующий народ” русские. Может, и так, только **это** государство – РФ – образуют не русские. Вот увековечить светлую память Андрюши Вознесенского – всегда пожалуйста. А тут – Тряпкин, понимаешь, совсем не Байрон, хотя и с русской душой. Ну и что?..

ФОКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Необыкновенно русская, свойская, родная, словно из соседней деревни, только во всеоружии образования – вот такое впечатление у меня от немногих коротких встреч с Ольгой. Ни в чём не изменилась, ничему родному не изменила. Вот уж истинный ответ на козевский вопрос: “Вышли мы все из народа... Как нам вернуться в него?” А Фокина никогда и не выходила!

Сергей Васильевич Викулов очень ценил дарование Ольги, заметно переживал, когда в его родном журнале долго не появлялись её новые стихи. Он готов был даже подозревать Куняева: уж не “заморозил” ли Стас отношения журнала с народной поэтессой, не проявил ли невнимание к её творчеству.

– Она не стареет! – горячо говорил он мне. – И не повторяется. Всякие выверты постмодернистские ей чужды, противны. От этого больше горечи в её последних стихах, но ничуть не меньше веры в русскую могучую силу!

Я соглашался с ним, а сам продолжаю думать: что-то давненько от Ольги Александровны весточки со стихами нет. Возраст? Хвори одолели? Дела житейские. Но всё-таки хочется верить – Ольга ещё не спела свою последнюю песню!

ЧУЕВ ФЕЛИКС ИВАНОВИЧ

Один из самых близких и дорогих мне товарищей – и по темпераменту, и по характеру, по твёрдости убеждений. Уж как только его не гнули и не гнобили – да перестань ты носиться, как с иконой, со своим Сталиным, неужели не видишь – ты в абсолютном меньшинстве, и партия уже ясно определилась с культом, а Чуев всё своё гнёт: Сталин – наша слава боевая... Феликс не гнулся, не сдавался – он предчувствовал, предвидел, что в XXI веке общественный запрос на фигуру сталинского типа и масштаба будет только возрастать и усиливаться. И речь именно не о конкретном Иосифе Джугашвили, в Бозе почившем более полувека назад, со всеми его человеческими комплексами, слабостями и пороками, а о Сталине – мудром вожде, дальновидном политике, полководце и организаторе. Феликс преклонялся именно перед таким Сталиным и верил в него до конца дней своих.

Самым дорогое для меня воспоминание о Феликсе – это дни и ночи в подмосковном доме отдыха “Ёлочка” под Звенигородом, где мы дружной бригадой сочиняли для последующей (но так и не состоявшейся) публикации “Слово о комсомоле”. Как молитву повторяю с тех пор пронзительно оптимистичную строчку из Феликсовой поэмы: “Озарённая гагаринской улыбкой, голубая будет вечно плыть Земля”. Земля и после полёта Юры Гагарина будет вечно плыть в космосе, но она уже **другая** – её украсила улыбка космонавта № 1. Так завораживающе действует поэтическое слово. Думаю, что особенно глубоко – слово близкого друга.

ШИПИЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Какой это был весёлый, компанейский парень! Когда он приходил к нам в редакцию, в отдел прозы к своему другу Славе Морозову, бывшему десантнику, мы все (а я в особенности) оживлённо, радостно предвкушали, как сейчас лихие “небесные ангелы” споют фирменную Колину песню: “Я с покоса – и домой”. И две гитары, подзадоривая друг дружку, без всяких усилителей наполняли комнату шелестом и звоном скошенной травы, загромождёнными вскриками полевых птиц.

Коля только-только успел отметить свой “пенсион” (60-летие), переехать в наш писательский городок Внуково и – внезапно скончался.

ШЕЛЕХОВ Михаил Михайлович

Поэт, написавший такие сильные стихи о Сталине! Отнюдь не раболепно-культовые, вовсе нет. Мне кажется, Шелехову удалось, словно на неких мировых весах, взвесить, чего больше Сталин сделал для России – добра или зла. И сразу запомнилась своей прочувзованностью первая фраза одного из его стихотворений:

*Этого человека трудно любить
И трудно стихи посвящать...*

Не правда ли, как перекликается эта мысль с гениальной строкой А. С. Пушкина о сербе-отцеубийце Карагеоргии: “И ужаса людей, и славы был достоин”.

В один из приездов Михаила в Москву, в нашу редакцию (это было лет 7-8 назад) я познакомился с ним, сказал по-белорусски “дзякуй” и крепко пожал ему руку. За Родину, за Сталина.

ЮШИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ

Женя какое-то время был главным редактором журнала “Молодая гвардия”. Уж так мы с Куняевым старались сблизить, спаять единой идеей три русских журнала! Но, увы, “каждый умирает в одиночку”. Слишком замкнут и холоден был главный в журнале “Москва” Лёня Бородин. Слишком слабым как организатор и боец оказался Юшин. Так посмотреть – парень хоть куда: сговорчивый, контактный, но не рождённый руководить. С поэтами это бывает часто... В конце концов, когда тираж “Молодой гвардии” “сдулся” чуть ли не до одной тысячи экземпляров, Женя сдал вахту своему товарищу, тоже поэту, но человеку с гораздо более высокой планкой личных амбиций. Приведёт ли он уважаемый журнал к возрождению его былой славы – не знаю. Не уверен.